

«Последний поезд на Лондон»...
светится надеждой: обычные люди ставят
под угрозу собственную комфортную жизнь,
чтобы помочь другим.

BookPage

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД НА ЛОНДОН

РОМАН



МЕГ УЭЙТ КЛЕЙТОН

Азбука-бестселлер

Мег Уэйт Клейтон

Последний поезд на Лондон

«Азбука-Аттикус»

2019

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Клейтон М.

Последний поезд на Лондон / М. Клейтон — «Азбука-Аттикус»,
2019 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-18625-5

1936 год. Вена. Пятнадцатилетний Штефан и его подруга Зофи весело проводят время с друзьями: гуляют по городу, ходят в кафе, исследуют венские подземелья. Но все резко меняется, когда в 1938 году Гитлер захватывает Австрию. Нацисты убивают отца Штефана, отправляют его семью в гетто, а сам Штефан вынужден скрываться, чтобы избежать отправки в трудовые лагеря. Мать Зофи арестовывают за издание антинацистской газеты. Уже несколько лет Гертруда Висмюллер, рискуя жизнью, вывозит еврейских детей из Германии в страны, готовые их принять. Ей удастся договориться с представителями Великобритании о приеме детей-беженцев и получить разрешение правительства новой нацистской Германии. Первый поезд увозит из Австрии 600 детей, и среди них Штефана, его маленького брата и Зофи, в Англию. Но что ждет их там? Сколько еще таких поездов удастся организовать Гертруде Висмюллер? И какова судьба последнего поезда на Лондон? Впервые на русском языке!

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-18625-5

© Клейтон М., 2019
© Азбука-Аттикус, 2019

Содержание

Примечание автора	6
Часть первая. Время до	7
На границе	8
Мальчик встречает девочку	10
Рубины фальшивые и настоящие	13
Свечи на рассвете	15
В поисках Стефана Цвейга	19
Человек в тени	21
Немного шоколада на завтрак	23
Туфли, испачканные мелом	24
Парадокс лжеца	25
Самая большая пишущая машинка в мире	29
Поиск	32
Клара ван Ланге	34
Мрачный взгляд в окно	35
Автопортрет	37
Босиком на снегу	38
Демонстрация бесстыдства	40
На набережной	42
Бриллианты, и не фальшивые	44
Мотоштурмфюрер	45
Выбор	46
Математика музыки	48
Рогалик и чашка шоколада по-венски	49
Неверный пароль	51
Между строк	53
Теория хаоса	56
Пустая бальная книжка	60
Аншлюс	61
Часть вторая. Время между	64
После отказа танцевать	65
Выбор	66
День уборки	68
Картотека	70
Непредвиденные обстоятельства	71
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Мег Клейтон

Последний поезд на Лондон

Meg Waite Clayton
The Last Train To London

© 2019 by Meg Waite Clayton, LLC

© Н. Маслова, перевод, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство АЗБУКА®

* * *

НИКУ и памяти Майкла Литфина (1945–2008), рассказавшего моему сыну историю «Киндертранспорта», которую тот передал мне, и Труус Висмюллер-Мейер (1896–1978), а также всем спасенным ею детям посвящается

Я помню: это было вчера или века назад... И вот тот самый мальчик оборачивается ко мне. «Скажи, – говорит он, – что сделал ты с моими годами, что сделал ты со своей жизнью?» ...Даже один человек, если он честен и смел, может изменить мир.

Из речи Нобелевского лауреата Эли Визеля, произнесенной в Осло 10 декабря 1986 года

Примечание автора

После аннексии Германией независимого государства Австрия в марте 1938 года и Хрустальной ночи в ноябре того же года начались отчаянные усилия по вывозу десяти тысяч детей в Британию. Этот роман, хотя и является художественным вымыслом, основан на подлинных событиях отправки из Вены первого из серии «киндертранспортов» – поездов с детьми. Им руководила Гертруда Висмюллер-Мейер, жительница Амстердама, которая начала спасать детей еще в 1933 году. Дети называли ее тетей Труус.

Часть первая. Время до

Декабрь 1936 года

На границе

Крупные снежные хлопья придавали сказочность виду: призрачный белый замок за окном словно парил над вершиной белого холма под крики кондуктора:

– Бад-Бентхайм! Поезд прибывает в Бад-Бентхайм, Германия! Пассажирам, следующим в Нидерланды, приготовить документы.

Гертруда Висмюллер, голландка с твердым подбородком, крупным носом и резко очерченными бровями, с большим ртом и добрыми серыми глазами, наклонилась к малышу у нее на коленях и поцеловала его раз, потом другой, ненадолго задержавшись губами на его гладком лбу. Потом протянула ребенка сестре и сняла ермолку с головы их братика, который еще нетвердо стоял на ножках.

– Es ist in Ordnung. Es wird nicht lange dauern. Dein Gott wird dir dieses eine Mal vergeben, – ответила Труус на возражения детей на родном для них языке. – Все хорошо. Это ненадолго. Ваш Бог нас простит.

Когда поезд, шумно выдохнув напоследок, остановился, средний мальчик вдруг бросился к окну с криком «Мама!».

Труус, приглаживая ему волосы на затылке, проследила за его взглядом в заснеженное окно и увидела платформу. Там, несмотря на метель, немцы стояли в упорядоченных очередях, носильщик толкал нагруженную багажную тележку, сутулый человек-сэндвич расхаживал с рекламой какого-то ателье на спине и на груди. Ага, вот и она. Стройная женщина в черном пальто и шарфе стоит у прилавка с сосисками, спиной к поезду. Это ее громко зовет мальчик:

– Мааа-мааа!

Женщина повернулась к ним лицом и, лениво откусывая от сосиски, стала разглядывать доску с объявлениями. Мальчик съезжился. Конечно, это была не его мама.

Труус притянула ребенка к себе, шепча:

– Тише, тише, тише, – боясь обещать ему несбыточное.

Вдруг с шипением и лязгом распахнулась дверь вагона. Пограничник в форме подал руку, чтобы помочь сойти на платформу пассажирке – беременной немке, которая оперлась на его руку своей, затянутой в перчатку. Труус расстегнула перламутровые пуговицы собственных перчаток из желтой кожи и опустила широкие манжеты, украшенные элегантными черными полосками. Стянув перчатки – подкладка слегка цеплялась за крупный перстень с рубином, зажатый между двумя другими кольцами, – она обеими руками, кожа на которых уже начала подсыхать и покрываться пигментными пятнами, вытерла мальчику слезы.

Поправляя детям волосы и одежду, она говорила с ними, обращаясь к каждому по имени, а сама зорко следила за укорачивающейся очередью у выхода из вагона.

– Ну вот, – закончила она, вытирая малышу ротик в тот самый миг, когда вышел последний пассажир. – Теперь идите и мойте ручки, как мы с вами учились.

Пограничник-наци уже поднимался в вагон.

– Мойте как следует, без спешки, – спокойным голосом сказала Труус и, обращаясь к девочке, добавила: – Подержи братишек в туалете подольше, милая.

– До тех пор, тетя Труус, пока вы не наденете перчатки, – ответила девочка.

Ни у кого не должно было возникнуть подозрения, будто она прячет детей, в то же время ей не хотелось, чтобы они были рядом, пока она будет торговаться. «Значит, будем привлекать взгляд не к тому, что на виду, а к тому, что скрыто», – подумала она и машинально поднесла к губам рубин.

Она открыла сумочку, слишком изящную и «дамскую». Знай она, что придется возвращаться в Амстердам с тремя ребятишками, взяла бы что-нибудь посолиднее. Снимая одно за

другим кольца, Труус складывала их в сумочку, прислушиваясь, как за ее спиной дети топчут в сторону туалета.

Пограничник уже стоял перед ней. Он был молод, но не настолько, чтобы не быть мужем, а то и отцом.

– Ваши визы? У вас есть визы на выезд из Германии? – требовательно обратился он к Труус, единственному взрослому человеку в вагоне, не считая его самого.

Труус продолжала копаться в сумочке, точно ища требуемые документы.

– Ох уж эти дети, голова с ними кругом, – добродушно пожаловалась она молодому пограничнику, а ее пальцы впились в голландский паспорт, одиноко лежавший у нее в сумочке. – У вас уже есть дети, офицер?

Тень несанкционированной улыбки скользнула по его лицу.

– Жена ждет первенца, к Рождеству должна родить.

– Как вам повезло! – воскликнула Труус и, пока пограничник смотрел в конец вагона, где звонко лилась в раковину вода и, словно птички, чирикали дети, улыбнулась собственному везению.

Она молчала. Пусть молодой человек проникнется мыслью о том, что скоро у него самого родится малыш, который сначала будет беспомощным, как маленький Алекси, потом подрастет, научится ходить, как Израиль, а после станет совсем большим, как умница Сара.

Труус сидела, поглаживая рубин, искрящийся теплым светом на единственном кольце, оставшемся у нее на руке.

– Наверное, вы уже купили жене подарок. Что-нибудь особенное, в память о таком событии.

– Особенное? – рассеянно повторил наци, вновь поворачиваясь к ней.

– Красивую вещицу, которую ваша жена будет носить постоянно и которая будет напоминать ей о рождении первенца. – Она сняла с пальца кольцо и добавила: – Вот такую, к примеру. Мой отец подарил это моей матери в день, когда родилась я.

Ее бледные пальцы не дрожали, когда она протянула пограничнику кольцо, а с ним одинокий паспорт.

Пограничник недоверчиво взглянул сначала на кольцо, потом взял паспорт, пролистал его, снова бросил взгляд в конец вагона:

– Это ваши дети?

Дети голландцев обычно вписывались в паспорта родителей, но в ее паспорте никаких детей не значилось.

Она повернула кольцо так, чтобы свет заиграл на граненой поверхности камня, и сказала:

– Дети, они ведь дороже всего на свете.

Мальчик встречает девочку

Штефан выскочил за дверь, слетел по заметенным снегом ступеням и помчался к Бургтеатру. По улице он бежал, и сумка на боку при каждом шаге хлопала его по школьной куртке. Но у магазина канцелярских принадлежностей он все же притормозил: в витрине по-прежнему стояла она, пишущая машинка. Он поправил очки, поднес к стеклу пальцы и сделал вид, будто печатает.

По площади, где уже вовсю бушевала рождественская ярмарка и пахло глнтвейном и имбирными пряниками, мальчик бежал, работая локтями и то и дело бормоча направо и налево:

– Извините! Простите! Извините! – Шапку он надвинул почти на нос, чтобы его не узнали.

Он был из почтенной семьи: его предки разбогатели на производстве шоколада, дело открыли на собственные деньги и никогда не превышали кредит в банке Ротшильда. И если кто-нибудь нажалуется его отцу, что он опять сбил на улице с ног старушеницу, то возделенная пишущая машинка останется под освещенной разноцветными огоньками елкой в витрине на Ратхаусплац и ни за что не попадет под елку в зимней галерее их дома.

– Добрый день, герр Кляйн! – махнул Штефан старику-киоскеру, торговавшему газетами.

– Где ваше пальто, мастер Штефан? – окликнул его продавец.

Штефан взглянул на себя – опять забыл пальто в школе! – но замедлил шаг только на Рингштрассе, где дорогу ему преградили нацисты: целая группа с плакатами в руках выскочила откуда-то, точно из-под земли. Но мальчик ловко нырнул в оклеенный афишами павильон и загрохотал по железным ступеням вниз, в самую тьму венского подземелья, а выскочил уже на другой стороне улицы, прямо у дверей Бургтеатра. Рванув на себя дверь и перескакивая через две ступеньки, он скатился в полуподвал, где работала маленькая мужская парикмахерская.

– Мастер Нойман, какой сюрприз! – приветствовал Штефана герр Пергер, его белые брови удивленно скользнули вверх над черной оправой круглых очков – таких же, как у Штефана, только сухих, а не мокрых от снега, и замер в полупоклоне, с метелкой и совком в руках: он подметал волосы предыдущего клиента. – Но разве я не...

– Только подровнять, чуть-чуть. Прошло уже несколько недель.

Герр Пергер выпрямился, стряхнул в мусорное ведро состриженные волосы и поставил совок с метелкой в угол, туда, где стояла, прислонившись к стене, виолончель.

– Ну что ж, должно быть, старые мозги не так памятьливы, как молодые, – добродушно произнес он и кивнул на кресло. – А может быть, память подводит и юношей, не обделенных карманными деньгами?

Штефан бросил сумку, и пара страниц его новой пьесы выскользнула из нее на пол, но это ничего – герр Пергер знает, что он пишет. Скинув куртку, мальчик сел в кресло и снял очки. Мир сразу утратил четкость и стал волшебным: метелка словно вальсировала в углу с виолончелью, в зеркале над отражением знакомого галстука повисло чужое лицо. Но вот парикмахерская накидка герра Пергера коснулась его плеч, и мальчика передернуло: он терпеть не мог стричься.

– Я слышал, в театре думают репетировать новую пьесу, – начал он. – Чью? Цвейга?

– Ах да, вы ведь большой поклонник герра Цвейга. Как же я мог забыть? – с добродушной насмешкой ответил Отто Пергер, который знал все, что только можно было знать, и об артистах театра, и о пишущих для него драматургах.

Друзья Штефана Ноймана терялись в догадках, откуда он столько всего знает о театре, и думали, что он знаком с кем-нибудь из актеров, а то и с режиссером.

– Матушка герра Цвейга все еще живет в Вене, – сказал Штефан.

– Но сам он, с тех пор как перебрался в Лондон, не афиширует свои приезды сюда. Впрочем, должен вас разочаровать: ставить думают не его, а Чокора – «Третье ноября тысяча девятьсот восемнадцатого», о последних днях Австро-Венгрии. Однако вокруг пьесы плетутся интриги, и многие сомневаются, что она вообще увидит свет ramпы. К несчастью, герр Чокор живет буквально на чемоданах. Но я слышал, что работа над постановкой все-таки движется, хотя в ее рекламную кампанию пришлось включить заявление о том, что пьеса не содержит оскорбительных намеков в адрес ни одной из наций, входивших в состав бывшей Германской империи. В общем, потихоньку-полегоньку жизнь продолжается.

Отец Штефана наверняка возразил бы сейчас, что они живут в Австрии, а не в Германии и что нацистский мятеж здесь подавлен давным-давно. Но Штефан плевать хотел на политику. Его волновало лишь одно: кому достанется главная роль.

– Может быть, угадаете? – предложил герр Пергер, разворачивая мальчика к себе лицом вместе с креслом. – Как я помню, вы большой мастер догадок.

Штефан прикрыл глаза и снова не смог сдержать дрожь, хотя обрезанные волосы, к счастью, не сыпались ему на лицо.

– Вернер Краусс? – предположил он.

– Только подумайте! – с неподдельным, а потому удивительным энтузиазмом воскликнул герр Пергер.

Он вновь развернул кресло к зеркалу, и Штефан опять вздрогнул, увидев в его стеклянной глубине, расплывчатой без очков, что старый мастер вовсе не восторгается его блестящей догадкой, а обращается к девушке, чья голова выглядывала из-за вентиляционной решетки в стене возле него, словно росток подсолнуха на картине сюрреалиста. Один миг, и она оказалась перед ним – запыленные очки, светлые косы и молодые грудки, обтянутые платьем.

– Ну вот, Зофия Хелена, твоей маме придется возиться с этим платьем всю ночь, чтобы оно опять стало чистым, – произнес герр Пергер.

– Вообще-то, дедушка Отто, это был не совсем честный вопрос, ведь главных мужских ролей две, – весело сказала девушка.

И что-то в душе Штефана шевельнулось, откликаясь на ее голос, высокий и чистый, как начальный си-бемоль в «Аве Мария» Шуберта. Этот голос, поэтическое имя девушки – Зофия Хелена, – близость ее маленьких грудок – все это волновало его.

– Это лемниската Бернулли. – Она притронулась к золотому символу, висевшему у нее на цепочке. – Аналитически нулевая точка многочлена $x^2 + \pi x^2 - 2Cx^2$ результат $x^2 + \pi x^2 - 2Cx^2$, помноженное на два Cx^2 .

– Я... – Штефан запнулся и залился краской.

Ему было стыдно, что девушка перехватила его взгляд, когда он смотрел на ее грудь, даже если она неверно истолковала его причину.

– Мне подарил его папа, – сказала она. – Он тоже любит математику.

Герр Пергер освободил Штефана от накладки, подал ему очки и отмахнулся от протянутой медно-никелевой монеты, сославшись на отсутствие сдачи. Мальчик нагнулся, подобрал с пола листки и затолкал их в сумку. Ему не хотелось, чтобы эта девочка видела его пьесу, или знала, что у него есть пьеса, или даже думала, будто он считает, что вообще может написать нечто, заслуживающее прочтения. Вдруг он застыл, пораженный мыслью: «А что, если пол был грязный?»

– Познакомьтесь, мастер Штефан, это моя внучка, – сказал Отто Пергер; ножницы все еще были у него в руке, а метелка с совком спокойно стояли под боком у виолончели. – Зофи, этот молодой человек, Штефан, так же увлечен театром, как и ты, но гораздо больше тебя заботится о своей прическе.

– Рада знакомству, Штефан. Вот только зачем ты пришел стричься, мне непонятно. Тебе же совсем не нужна стрижка.

– Зофия Хелена! – сурово одернул ее дед.

– Я все слышала и видела из-за решетки. Стрижка тебе не нужна, и дедушка Отто только делал вид, будто стрижет. Но погоди, ничего не говори! Дай мне самой сделать вывод. – Она обвела комнату взглядом, который, скользнув по виолончели в углу, по вешалке для пальто у двери, по деду, снова вернулся к Штефану, а затем метнулся к его сумке. – Ты актер! А дедушка знает все об этом театре.

– Думаю, мой ангел, ты скоро узнаешь, что Штефан – писатель, – сказал Отто Пергер. – А еще ты должна знать, что писатели порой совершают странные поступки исключительно ради обогащения жизненного опыта.

Зофия Хелена взглянула на Штефана с интересом:

– Правда?

– Я... На Рождество мне подарят пишущую машинку! – выпалил Штефан. – То есть я надеюсь, что подарят.

– Специальную?

– Почему специальную?

– Нелегко, наверное, быть левшой?

Пока Штефан смущенно разглядывал свои руки, девушка отодвинула решетку и, опустившись на четвереньки, снова скрылась в стене, но тут же высунула голову.

– Пошли, Штефан! – позвала она. – Еще чуть-чуть, и репетиция закончится. Надеюсь, тебя не пугает перспектива добавить немного саж и пыли к чернильным пятнам на рукаве, а? Ради обогащения жизненного опыта?

Рубины фальшивые и настоящие

Перламутровая пуговка оторвалась от манжеты на перчатке Труус, пока она, одной рукой прижимая к себе малыша, другой ловила среднего мальчика. Тот так засмотрелся на массивный металлический купол железнодорожного вокзала в Амстердаме, что едва не свалился с верхней ступеньки вагона.

– Труус! – окликнул ее муж, подхватил мальчика и опустил его рядом с собой на платформу, затем помог спуститься девочке и, наконец, самой Труус с малышом.

Оказавшись на платформе, Труус позволила мужу обнять себя – проявление супружеской нежности, которое они редко допускали на публике.

– Гертруда, – начал он, – неужели фрау Фрайер не могла...

– Пожалуйста, Йооп, не надо об этом сейчас. Что сделано, то сделано, к тому же я уверена, что молодой жене того офицера, который помог нам переправиться через границу, рубин моей матери пригодится куда больше, чем мне. Скоро ведь Рождество, надо быть щедрыми, разве ты забыл?

– Господи боже, только не говори мне, что ты рискнула подкупить нациста подделкой!

Труус чмокнула мужа в щеку:

– Милый, ты ведь говорил, что сам не различаешь, который из моих перстней настоящий, а какой поддельный, так что, думаю, обман не скоро раскроется.

Йооп расхохотался и, неуклюже приняв младенца из рук жены, тут же заворковал над ним: оба любили детей, хотя своих завести так и не смогли, сколько ни пытались. Труус, чьи руки больше не согревал ребенок, сунула их в карманы пальто и тут же нащупала в одном из них спичечный коробок, о котором совсем забыла. Ей дал его в поезде доктор, тот, странный. Он долго глядел на детей влюбленным взглядом и вдруг протянул ей коробочку.

– Вы – посланец Бога, вне всякого сомнения. – И объяснил, что в коробке – его счастливый камень, талисман, который он всегда носит с собой, а теперь хочет подарить ей. – Это чтобы с вами и с детьми ничего не случилось, – настаивал он, открывая коробок и показывая ей камень; тусклый, серый, он годился разве на то, чтобы служить талисманом. – Когда хоронят еврея, люди несут на могилу не цветы, а камни, – добавил он так, что отказаться от его подарка стало невозможно.

Правда, доктор пообещал забрать свой талисман назад, когда ему самому понадобится удача. В Бад-Бентхайме он сошел, а поезд пополз дальше, через германо-нидерландскую границу. И вот, стоя вместе с детьми на платформе в Амстердаме, Труус подумала, что, может быть, этот невзрачный камешек и впрямь обладает какой-то охранительной силой.

– Так-то, малыш, – говорил между тем Йооп младенцу, – придется тебе расти, чтобы стать большим, сильным и совершить великие дела, иначе как мы с тобой оправдаем риск, которому подвергала себя моя невеста? – Но как ни тревожила Йоопа эта незапланированная спасательная операция, он не стал критиковать жену, молчал он и когда Труус планировала поездки в Германию за детьми; чмокнув малыша в щечку, он добавил: – Нас ждет такси.

– Такси? Тебе что, жалованье прибавили?

Это была шутка. Йооп сам был банкиром, экономным до мозга костей, но при этом романтичным настолько, что, прожив с женой двадцать лет, все еще звал ее невестой.

– От трамвайной остановки до дома их дяди и так далеко идти, а тут еще снег, – оправдывался он. – Да и доктор Грунвельд вряд ли захочет, чтобы племянники и племянница его друга отморозили себе носы и щеки.

Друг доктора Грунвельда. Это все объясняет, думала Труус, когда ажурный купол вокзала над их головами сменился ветвями деревьев в белом кружевном уборе, в глаза ударила резкая белизна замерзшего канала, а под ногами захлюпала жижа из снега и грязи. Так работал

Комитет по еврейским нуждам: голландские граждане вызывали к себе племянников и племянниц; знакомых знакомых; детей друзей и партнеров по бизнесу. И как часто от наличия таких связей, далеких, порой мимолетных, зависела чья-то жизнь.

ВЕНСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ

ДОМ, ГДЕ РОДИЛСЯ ГИТЛЕР, СТАНОВИТСЯ МУЗЕЕМ

Отношения между Австрией и Германией остаются напряженными, несмотря на летнее соглашение

Кэте Пергер

БРАУНАУ-АМ-ИНН, АВСТРИЯ, 20 декабря 1936 года. Владелец дома, где родился Адольф Гитлер, отдал две комнаты под музей. Австрийские власти в Линце разрешили публичное посещение при условии, что в дом будут впускать только посетителей из Германии, а не австрийских граждан. Если оно будет нарушаться или дом превратится в регулярное место проведения нацистских демонстраций, музей будет закрыт.

Открытие музея стало возможным после заключения 11 июля Германо-австрийского соглашения с целью вернуть наши нации к отношениям нормального и дружеского характера. По условиям данного документа Германия признает полную независимость Австрии и соглашается считать политическое устройство нашей страны делом международным, а потому не подлежащим германскому влиянию – уступка со стороны Гитлера, который серьезно возражает против решения правительства Австрии удерживать в тюремном заключении членов Австрийской нацистской партии.

Свечи на рассвете

Зофия Хелена с замиранием сердца подходила к запорошенной снегом изгороди и высоким кованым воротам роскошного особняка на Рингштрассе. Чтобы успокоиться, она положила ладонь на розовый в клеточку шарфик – подарок бабушки ей на Рождество, – мягкий, как материнское прикосновение. Этот дом был куда больше того, в котором размещалась квартира ее родителей, и намного наряднее. Четыре этажа с колоннами, арки нижнего словно поддерживали три верхних, где прямоугольники французских окон выходили на балконы с каменными балюстрадами, а пятый, не такой высокий, как другие, украшали каменные статуи. Они то ли подпирали шиферную крышу, то ли караулили прислугу, для которой этот этаж, несомненно, и предназначался. Не может быть, чтобы в таком доме действительно жили люди, и уж тем более Штефан. Она хотела повернуться ко всему этому великолепию спиной, когда из привратничьей показался человек в пальто и цилиндре и распахнул перед ней ворота. Едва она шагнула внутрь, как резная дверь парадного входа отворилась и по ступенькам, сухим и чистым, как в разгар лета, сбежал Штефан.

– Смотри! Я написал новую пьесу! – воскликнул он, потрясая перед ней какими-то листками. – И напечатал ее на машинке, которую подарили мне на Рождество!

Привратник тепло улыбнулся:

– Мастер Штефан, не желаете ли пригласить гостью в дом?

Внутри особняк оказался еще роскошнее, чем снаружи: великолепные люстры, сложные геометрические узоры на мраморном полу, величественная лестница и везде картины, но все такие необычные: то осенние березы в какой-то чудной, искривленной перспективе, то приморская деревушка на склоне холма, жизнерадостная до оскотины; а вот странный портрет дамы, очень похожей на Штефана, – те же страстные глаза, длинный прямой нос, красные губы и почти неуловимая ямочка на подбородке. Волосы дамы на портрете были убраны наверх, полностью открывая лицо, а на щеках горели красные царапины: их тревожная изысканность наводила на мысли скорее о красоте и здоровом румянце, чем о боли, и все же Зофи подумала именно о ней. Из большой гостиной текли звуки Первой виолончельной сюиты Баха, мешаясь с оживленными голосами гостей, собравшихся у фортепиано: его крышка с изысканной отделкой из золотых листьев была поднята, а на внутренней стороне большая белая птица с раскинутыми крыльями несла в лапах позолоченную трубу.

– Ее еще никто не читал, – прошептал Штефан. – Ни одного слова.

Зофи снова взглянула на рукопись, которую он протягивал ей. Неужели он хочет, чтобы она прочла это прямо сейчас?

Привратник – Штефан называл его Рольф – подсказал:

– Надеюсь, ваша гостья хорошо провела Рождество, мастер Штефан?

Но Штефан пропустил его слова мимо ушей и обратился к Зофи:

– Я еле дождался, когда ты вернешься.

– Да, Штефан, моя бабушка поправилась, а я прекрасно провела время в Чехословакии, спасибо, – ответила девушка и была вознаграждена одобрительной улыбкой Рольфа, который как раз принимал у нее пальто и новый шарфик.

Зофи пробежала глазами первую страницу:

– Штефан, начало прекрасное.

– Ты и правда так думаешь?

– Вечером я прочитаю ее целиком, обещаю, а сейчас, если ты действительно хочешь познакомить меня с родственниками, заberi ее у меня, ведь я не могу явиться к ним с бумагой под мышкой.

Заглянув в музыкальную гостиную, Штефан взял у девушки рукопись и побежал наверх. На площадке второго этажа он, не сбавляя скорости, схватился на повороте сначала за одну статую, потом за другую и влетел в распахнутую дверь библиотеки, за которой изумленным глазам Зофи открылось столько книг, сколько она никогда еще не видела ни в одном доме.

Из салона донесся голос – женщина, плоскогрудая, по моде того времени, говорила:

– ...Гитлер сжигает книги. Кстати, самые интересные. – Говорящая была похожа на Штефана и на портрет с исцарапанными щеками, только ее волосы, разделенные прямым пробормом, двумя волнами спускались по обе стороны лица. – Пикассо и Ван Гог этот жалкий тип называет неучами и мошенниками. – Одним пальцем она поддела нитку жемчуга, которая, как и у матери Зофи, обвивала ее шею, а потом ровным полукругом спускалась до самой талии; жемчужины были такие крупные и круглые, что, казалось, разорвись удерживающая их нить, и они будут катиться без остановки. – «Миссия искусства не в том, чтобы валяться в грязи ради самой грязи», – заявляет он. Откуда ему знать, в чем миссия искусства? И после этого меня называют истеричкой?

– Никто не называл тебя истеричкой, Лизль, – ответил женщине мужской голос. – Ты сама это только что придумала.

Лизль. Значит, это тетка Штефана. Он обожал ее и дядю Михаэля, ее мужа.

– А Фрейд все-таки душка, – весело заметила Лизль.

– Только модернисты обращают внимание на то, что говорит Гитлер, – продолжал Михаэль, дядя Штефана. – Кокошка...

– Который занимает в Академии изящных искусств место Гитлера, как тот думает, – перебила его Лизль.

И стала рассказывать, что приемная комиссия оценила рисунки Гитлера так низко, что его даже не допустили до приемных испытаний. Спать ему пришлось в ночлежке, ел он на кухне для бедных, а картины пристраивал в лавки, которым нужно было заполнить пустые рамы.

Пока гости, собравшись в круг, потешались над ее рассказом, дверь в дальнем конце холла плавно скользнула в сторону. Лифт! Мальчик – совсем малыш, года три, не больше, – сполз со стоявшего в кабине красивого кресла на колесах. Оно явно было не детским: изящные подлокотники, плетеные сиденье и спинка, медные рукоятки изумительно круглой формы перекликались с окружностями колес. Малыш вышел в холл, таща за собой плюшевого кролика.

– Привет! Ты, наверное, Вальтер? – спросила Зофи. – А как зовут твоего друга?

– Петер.

Кролик Петер. Зофи пожалела, что потратила все свои рождественские деньги; купила бы сейчас такого же славного Петера в синей курточке своей сестренке Йойо.

– Там папа, у моего пианино, – сказал малыш.

– Твоего пианино? – удивилась Зофи. – Ты уже играешь?

– Не очень хорошо, – ответил мальчик.

– На том большом пианино?

Мальчик посмотрел на инструмент:

– Ну да.

Штефан с пустыми руками слетел по лестнице вниз как раз тогда, когда Зофи, заглянув в гостиную, увидела торт с высокими тонкими свечками. Их, как это было принято в Австрии, зажгли еще на рассвете, и они горели весь день, тая по одному дюйму в час. Рядом с тортом стоял огромный поднос, который буквально ломился от шоколадных фигурок: одни из темного шоколада, другие из молочного – и на каждой имя Штефана.

– Штефан, так у тебя сегодня день рождения? – Шестнадцать свечей по количеству лет плюс еще одна – на удачу. – Почему же ты ничего мне не сказал?

Штефан взъерошил Вальтеру волосы, и в это время сюита для виолончели плавно завершилась.

– Я! Я хочу! – завопил малыш и бросился к отцу, который подвинул табурет к патефону «Виктрола».

– ...и вот Цвейг отсиживается в Англии, а Штраус пишет музыку для фюрера, – продолжала тетя Лизль, чем тут же привлекла внимание Штефана.

Зофия Хелена не верила ни в каких героев, но не стала возражать, когда Штефан за руку втащил ее в салон, чтобы послушать, о чем говорят.

– А ты, должно быть, Зофия Хелена! – воскликнула тетя Лизль. – Штефан, ты не говорил, что твоя подружка такая красавица. – Она ловко выхватила из прически Зофи несколько шпилек, и белокурые волосы девушки каскадом упали до самой талии. – Так-то лучше. Правильно делаешь, что не стрижешь их. Будь у меня такие волосы, я бы всегда носила их распущенными, и плевать на моду! К сожалению, мама Штефана не смогла сегодня выйти. Но я обещала, что все ей о тебе расскажу, так что рассказывай!

– Очень рада встрече, фрау Вирт, – сказала Зофи. – Но вы что-то говорили о герре Цвейге? Продолжайте, прошу, иначе Штефан никогда меня не простит.

Лизль Вирт звонко рассмеялась: ее рот влажно раскрылся, подбородок приподнялся к неправдоподобно высокому потолку – и изо рта посыпались гладкие эллипсы смеха.

– Господа, это дочка Кэте Пергер. Главный редактор «Венской независимой», помните? – Зофи она сказала: – Зофия Хелена, знакомься, это Берта Цукеркандль, журналистка, как и твоя мама. – И, обернувшись к гостям, добавила: – У матери этой девочки, кстати говоря, смелости больше, чем у Цвейга или Штрауса.

– Послушать тебя, Лизль, – возразил ей муж, – так можно решить, что Гитлер уже у наших границ, а Цвейг живет в изгнании, хотя он прямо сейчас в городе.

– Стефан Цвейг здесь? – переспросил Штефан.

– Минут тридцать назад был в кафе «Централь». Разглагольствует, – ответил ему дядя Михаэль.

Лизль видела, как племянник и его маленькая подружка шмыгнули к выходу, пока ее муж Михаэль задавал вопрос, почему Стефан Цвейг вообще уехал из Австрии.

– Он ведь даже не еврей, – продолжал Михаэль. – По крайней мере, не настоящий.

– Говорит мой нееврейский муж, – прозвенел голосок Лизль.

– Женатый на самой очаровательной еврейке Вены, – ответил тот.

Лизль заметила, как Рольф остановил Штефана и вручил ему поношенное пальтишко девушки. И едва не расхохоталась, такое удивленное лицо сделалось у Зофии Хелены, когда Штефан шагнул к ней с пальто в руках. Зайдя ей за спину, Штефан украдкой вдохнул запах ее волос, и Лизль невольно спросила себя, делал ли так Михаэль во время своего ухаживания. Ей тогда было всего на год больше, чем Штефану сейчас.

– Разве юная любовь не восхитительна? – обратилась она к мужу.

– Девочка влюблена в твоего племянника? – спросил Михаэль. – Не знаю, следует ли поощрять его дружбу с дочкой скандальной журналистки.

– Ты имеешь в виду только ее мать, дорогой? – спросила Лизль. – А как же отец, который, как нам говорят, совершил самоубийство в берлинском отеле в июне тысяча девятьсот тридцать четвертого, причем произошло это – по чистой случайности, разумеется, – в ту самую ночь, когда расстались с жизнью столько видных политических противников Гитлера? Ведь это после его смерти мать девочки, оставшаяся беременной вдовой, продолжила его дело.

Лизль смотрела, как Штефан и Зофи выходят из дома, а бедняга Рольф спешит за ними, размахивая забытым шарфиком девушки, неправдоподобно красивым, в розовую клетку.

– Не знаю, влюблена ли в Штефана эта девушка, – задумчиво произнесла Лизль, – но вот он от нее совершенно без ума.

В поисках Стефана Цвейга

– А-а, вон и mein Engelchen¹ со своими воздыхателями: один писатель, а другой просто дурачок! – сказал клиенту Отто Пергер.

Старый мастер не видел внуку с Рождества, и вот на лестнице в дальнем конце коридора раздались звонкие молодые голоса и звук шагов: это спускалась Зофия Хелена со Штефаном Нойманом и еще одним юношей.

– Надеюсь, она выберет дурачка, – отозвался клиент, подавая Отто щедрые чаевые. – От нас, писателей, в любви никакого толку.

– К сожалению, ей милее писатель, хотя, по-моему, она сама этого еще не поняла. – Отто замолчал, придумывая предлог, чтобы задержать клиента и представить ему Штефана, но того ждала машина, а дети замешкались по дороге, как это часто бывает с детьми. – Я рад, что ваш визит к матери оказался удачным, – добавил старый мастер.

Но клиент уже спешил прочь, разминувшись с детьми в холле. Поднимаясь к выходу, он вдруг обернулся и спросил:

– Кто из вас писатель?

Штефан, который как раз смеялся каким-то словам Зофи, даже не услышал, но другой мальчик сразу показал на него.

– Удачи тебе, сынок. Нам нужны талантливые писатели, особенно сейчас.

И он вышел, а дети ввалились в крошечную парикмахерскую, где Зофи тут же объявила своему деду, что, оказывается, у Штефана сегодня день рождения.

– От всей души поздравляю вас, мастер Нойман! – воскликнул Отто, обнимая внуку.

Девочка так походила на отца, его покойного сына, – те же интонации, такие же, как у него, очки с вечно заляпанными стеклами, на что она, как когда-то он, не обращала внимания. От них даже пахло одинаково: миндалем, молоком и солнцем.

– Это был герр Цвейг, – сказал друг Зофи и Штефана.

– Где, Дитер? – спросил Штефан.

Отто поспешил задать вопрос:

– Мастер Штефан, а чем вы были заняты, пока Зофи была в отъезде?

Но заговорил Дитер:

– До прихода Штефана он сидел за соседним с нами столиком в кафе «Централь» – я про герра Цвейга. С Паулой Вессели и Лианой Хайд, которая очень постарела.

Отто замешкался, почему-то не желая признавать, что этот большой нескладный парень прав.

– К сожалению, Штефан, герр Цвейг опаздывал на аэроплан.

– Так это был он? – Глаза Штефана наполнились обидой, и он, со своим хохолком на макушке, торчавшим, несмотря на все усилия Отто, стал похож на малыша, у которого отняли игрушку.

Отто очень хотелось сказать мальчику, что у того еще будет возможность встретиться со своим героем, но он знал: этого может не случиться. Ведь они с Цвейгом только что говорили – точнее, Цвейг говорил, а Отто слушал – лишь о том, достаточно ли далеко Лондон от Германии и не дотянутся ли туда руки Гитлера. Герр Цвейг знал, как умер сын Отто, Кристоф; знал он и то, что Отто хорошо понимает, какая это ненадежная преграда – государственная граница.

– Надеюсь, вы обратили внимание на слова герра Цвейга, мастер Штефан, – произнес Отто. – Он сказал, что талантливые писатели, такие как вы, особенно нужны нам сейчас.

¹ Ангелок (нем.). – Здесь и далее примеч. перев.

Пусть лучше так, чем никак: начинающий автор все же получил напутствие великого мэтра, даже если сначала пропустил его мимо ушей.

Человек в тени

Показав новому начальнику, толстяку-оберштурмфюреру Вислицени, еврейский отдел Службы безопасности, Адольф Эйхман остановился у своего стола, где его ждал Зверь, самая красивая немецкая овчарка Берлина.

– Господи, как он неподвижно сидит, прямо чучело, – сказал Вислицени.

– Зверь хорошо обучен, – отреагировал Эйхман. – Если бы все в Германии были так дисциплинированы, как он, мы бы уже покончили с еврейским вопросом и занялись другими, более важными вещами.

– И кто же его обучил? – спросил Вислицени и, демонстрируя свое более высокое положение, занял стул Эйхмана.

Эйхман сел на стул для посетителей и тихим щелчком пальцев подозвал Зверя. Он сам убедил начальника в надежности положения отдела II/112 Службы безопасности (СД), хотя знал, что он держится если не на волоске, то по крайней мере на шнурке, причем таком потрепанном, как если бы его долго жевал Зверь. Во дворце Гогенцоллернов отдел занимал всего три маленькие комнаты, но гестапо с их собственным еврейским отделом, в котором работало куда больше народу, чем у Эйхмана, постоянно копало под коллег из СД. Однако Эйхман не жаловался. Урок о том, что за жалобу больше всех достается самому жалобщику, он усвоил давно и крепко.

– Ваша статья «Еврейская проблема», Эйхман, – в ней много интересных мыслей, особенно насчет того, что евреев можно вынудить покинуть Рейх, лишь подорвав их экономический базис, – сказал Вислицени. – Но зачем заставлять их эмигрировать в Африку или в Южную Америку? Почему не в другие страны Европы? Какая нам разница, где они, лишь бы не у нас.

– Вряд ли нам следует допускать, чтобы правительства наиболее высокоразвитых стран воспользовались их опытом в ущерб нам, – вежливо ответил Эйхман.

И без того крохотные прусские глазки Вислицени еще сузились.

– То есть вы считаете, что мы, немцы, не сможем превзойти иностранцев, если их держат те самые евреи, от которых мы так жаждем избавиться?

– Нет, – возразил Эйхман, кладя ладонь на голову Зверя. – Нет, я вовсе не это хотел сказать.

– А Палестина, которую вы относите к числу отсталых стран, находится под властью Британии.

Понимая, что стоять на своем бессмысленно, Эйхман спросил оберштурмфюрера, какого мнения по этому вопросу придерживается он, после чего долго слушал громогласную хвастливую чушь без проблеска понимания проблемы. Слушая, он, как всегда, запоминал отдельные куски, чтобы использовать их потом, когда представится случай, и ничем не выдавал своего несогласия с начальником. В конце концов, это его работа – слушать, что говорят другие, и вовремя кивать, в этом он был профессионалом. Каждый вечер он снимал свою красивую форму и, надев гражданскую одежду, выходил на улицы Берлина, чтобы подобраться поближе к сионистам, послушать их разговоры. Он обзавелся информаторами. Черпал информацию из еврейских газет. Написал доклад о деятельности Агудат Исраэль². Молча накапливал доносы. Проводил аресты. Участвовал в допросах гестапо. Даже хотел выучить иврит, надеясь, что это поможет ему в работе, но не получилось. Теперь весь Берлин сплетничал о том, как он хотел нанять раввина за три марки в час, хотя того можно было просто арестовать и брать уроки бесплатно.

² Всемирное еврейское религиозное движение.

Вера считала, что именно из-за этого место главы еврейского отдела получил невежа-пруссак, а ему, Эйхману, досталась лишь подачка в виде формального продвижения по службе на чисто техническую должность сержанта с сохранением прежних обязанностей, которые после очередной партийной чистки придется выполнять меньшим количеством людей. Но Эйхман знал: была и другая причина, почему его обошли званием. Разве мог он подумать, углубляясь в вопросы сионизма, что начальство сочтет непозволительной роскошью нагружать такого ценного специалиста, как он, административной рутинной? Нет, чтобы добиться больших чинов в партии национал-социалистов, надо быть пруссаком со вздернутым носом мопса, отвратительным смехом гиены и степенью по теологии, а главное, не обладать серьезными знаниями ни по одному вопросу.

Лишь после ухода Вислицени, уже приведя в порядок свой стол, Эйхман позволил Зверю пошевелиться.

– Ты такой хороший мальчик, – приговаривал он, поглаживая острые уши пса, лаская их бархатистое розовое нутро. – Хочешь, повеселимся? Мы ведь заслужили небольшую награду за то, что участвовали в этой шараде, правда?

Зверь встряхнул ушами и поднял острую морду, нетерпеливый, как Вера перед сексом. Вера. Сегодня как раз вторая годовщина их свадьбы. В маленькой квартирке на Онкель-Херзештрассе его ждут жена и сын, тот самый, о рождении которого Эйхману пришлось сообщить в Главное управление СС по вопросам расы, куда в свое время он сообщил и о своей свадьбе, состоявшейся не раньше, чем были представлены неоспоримые доказательства чисто арийского происхождения Веры. Значит, после службы он должен идти прямо домой, к Вере, к ее большим глазам, красиво очерченным бровям, круглому, словно яблоко, лицу и роскошному телу, такому соблазнительному, не то что те ходячие мощи, которых сегодня принято называть женщинами.

Но он направился не к жене, а совсем в другое место, и след в след за ним ступал Зверь. Вместе они перешли на другой берег и, углубившись в еврейское гетто, бродили по его улочкам. Зверь вел себя безукоризненно, но еврейские дети, едва завидев пса, бросались врассыпную, доставляя ни с чем не сравнимое наслаждение его хозяину.

Немного шоколада на завтрак

Труус опустила газету и посмотрела на мужа, который сидел напротив нее за завтраком.

– Нацисты выслали из Германии Алису Саломон, – сказала она потрясенно. – Зачем? Кому она помешала? Весь мир знает, что она всю жизнь занималась только общественным здравоохранением. Старая больная женщина, не имеющая никакого отношения к политике.

Йооп опустил на тарелку хлеб с хагельслагом: крошка шоколада соскользнула на фарфор, другая незаметно прилипла в уголке рта.

– Она еврейка?

Труус посмотрела в окно, поверх пустых зимних горшков для растений: с четвертого этажа, где они находились, был виден кусок Нассаукаде с каналом, мост и Раампорт. Доктор Саломон была христианкой. Христианкой истовой, возможно воспринявшей свою глубокую веру от родителей, таких же набожных, как у Труус. Они, считая жизнь даром Господа человеку, щедро делились им с осиротевшими бельгийскими детьми во время Первой мировой войны. Но Йоопу незачем знать о том, что нацисты изгнали из страны христианку. Он встревожится, начнет задавать вопросы, а ей, Труус, ни к чему, чтобы он расспрашивал ее о планах на день. Она собиралась в Германию, чтобы встретиться там с Рехой Фрайер и обсудить, чем можно помочь еврейским детям Берлина, которым уже запретили посещать школы. Правда, на свое последнее письмо она так и не получила ответа. Но Труус уже одолжила «седан» миссис Крамарски для этой поездки. Надо будет хотя бы прокатиться до фермы Веберов, она недалеко от границы.

– Наверное, среди ее предков есть евреи, – сказала она вслух.

Слава богу, хоть тут ей не пришлось лгать, но ее взгляд продолжал скользить по обоям в цветочек, по шторам, которые давно не мешало бы почистить, и по другим деталям комнаты, в которой они с мужем завтракали вот уже двадцать лет, с тех пор как поженились. Она сомневалась, что Алису Саломон лишили родины из-за ее родословной.

– Гертруда... – начал Йооп, и Труус напряглась.

Ее имя, которое до встречи с ним всегда казалось ей простым и надежным, как его ни произнеси, целиком или коротко, в его устах звучало очень мило. Однако он редко называл ее полным именем.

«Как зеницу ока береги то, на чем будет стоять твой брак», – сказала ей мать в то утро, когда Йооп повел ее под венец. И кто она, Труус, такая, чтобы пренебречь материнским наставлением и выказать раздражение, которое вызывал в ней этот пунктик мужа: называть ее полным именем всякий раз, когда он пытался уговорить ее свернуть с избранного пути?

Взяв салфетку, она подалась вперед и сняла шоколадную крошку с его губы. Ну вот, порядок восстановлен: перед ней снова тот безупречный старший кассир и партнер банка Индонезии, за которого она когда-то вышла замуж.

– Завтра приготовлю тебе бруджи крокеты на завтрак, – пообещала она, не дав Йоопу свернуть на тему ее дневных планов.

Одна мысль о хрустящих мясных котлетках во фритюре, укутанных, словно в перинку, в свежайшую, нежную булочку, могла поднять ему настроение и заставить забыть о чем угодно.

Туфли, испачканные мелом

Стоя у двери, Штефан наблюдал за Зофи, пока та вытирала половину доски, полностью покрытой какими-то математическими выкладками.

– Курт... – произнес встревоженный преподаватель.

Молодой человек спокойно сунул руки в карманы белых льняных брюк и кивнул Зофи. Штефан почувствовал себя доктором в «Амоке» – герой новеллы Цвейга, так помешавшийся на женщине, которая не хотела с ним спать, что начал ее преследовать. Только Штефан не преследовал Зофи. Она сама предложила, чтобы он пришел к ней в университет, хотя стояло лето и аудитории были пустыми.

Зофи бросила тряпку и, не обращая внимания на меловую пыль на своих туфлях, принялась снова покрывать доску формулами. Вынув из сумки журнал, Штефан сделал пометку: «Уронила тряпку прямо себе на туфли и даже не заметила».

Зофия Хелена посмотрела на него не раньше, чем закончила уравнение. И улыбнулась – совсем как та женщина в желтом платье, которая улыбнулась герою «Амока» с другого конца бального зала.

– Вы меня понимаете? – спросила Зофи мужчину постарше и, повернувшись ко второму, добавила: – Если нет, я завтра все объясню, профессор Гёдель.

Зофи отдала Гёделю мел и подошла к Штефану, словно напрочь забыла о мужчинах, которые переговаривались за ее спиной.

– Невероятно. Сколько ей, говорите, лет?

– Пятнадцать, – ответил Гёдель.

Парадокс лжеца

С Зофи на буксире, Штефан нырнул от дождя в здание шоколадной фабрики Нойманов. По ступенькам крутой деревянной лестницы они спускались в глубокий, как пещера, подвал, оставляя невидимые влажные следы в прохладной каменной темноте и постепенно затихающую болтовню фабричных работниц наверху.

– Мм... Шоколад... – произнесла Зофи, ничуть не испуганная.

С чего он решил, что такая умная девушка, как Зофи, обязательно испугается и он сможет взять ее за руку, как это делал Дитер всякий раз, когда они репетировали его новую пьесу? Пока они бежали, дождь смыл с ее туфель все следы мела, но формулы, которыми она еще недавно покрывала доску, до сих пор не изгладились в памяти Штефана: математика была чуждым для него языком.

Штефан потянул за цепочку, и под потолком вспыхнул свет. Угловатая графика теней от нагруженных деревянными ящиками палетов упала на стены. Когда Штефан спускался в подвал, слова начинали приходить ему в голову так быстро, что он прямо чувствовал, как они кувыркаются у него в мозгу, но с тех пор, как дома у него появилась машинка, писать он сюда больше не приходил. Взяв ломик – тот висел на специальном крюке на балясине нижней ступеньки, – он вскрыл один ящик и развязал джутовый мешок внутри: запах какао-бобов был так привычен, что иногда вызывал у него почти отвращение к шоколаду. Так мальчик, чей отец зарабатывает на жизнь литературой, может сызмальства питать отвращение к книгам, каким бы невероятным это ни казалось Штефану.

– Ты ведь угостишь меня, правда? – спросила Зофия Хелена.

– Чем? Бобами? Их же не едят, Зофи. Ну, разве только чтобы не умереть с голоду.

Вид у нее был до того разочарованный, что Штефан проглотил небольшую речь, которую приготовил с целью произвести на девушку впечатление, о сходстве между процессом варки шоколада и старинным балетом: все соединить, растопить, охладить, а затем помешивать, непрерывно помешивать, пока все комочки не растворятся, слившись в однородную нежную массу, которая тает на языке, вызывая экстаз. Экстаз. Нет, вряд ли он решится выговорить это слово в присутствии Зофи, разве что в шутку.

Он сбегал наверх, на фабрику, где взял пригоршню трюфелей для Зофи, и снова спустился, но девушки не обнаружил.

– Зофи?

Ее голос гулко раздался из-под лестницы:

– Бобы лучше хранить здесь. Чем глубже подвал, тем меньше в нем колебания температуры, и не из-за геотермального градиента на глубине, а по причине изолирующих свойств камня.

Он бросил взгляд на свой нарядный костюм, надетый специально для нее, но все же схватил с крюка фонарь и, нырнув под главную лестницу, полез по приставной лестнице в подzemелье. Но Зофи не оказалось и там. Встав на четвереньки, он заполз в низкий тоннель с песчаным полом, которым заканчивалась пещера, и в свете фонаря заметил в дальнем конце подошвы туфель Зофи, ее согнутые в коленях ноги и задравшуюся нижнюю юбку. Девушка стала вставать, от ее движения юбка на миг взлетела еще выше, и Штефан увидел бледную кожу ее коленей и бедер.

Зофи наклонилась в сторону Штефана, и ее лицо попало в луч света от фонаря.

– Это новый термин – геотермальный градиент, – сказала она. – Ничего, если ты его еще не слышал. Многие не слышали.

– Зато верхняя пещера суше, а это лучше для какао, – сказал он, подходя к ней. – И грузить легче.

Проход, в котором они стояли, возник естественным путем, в отличие от цементного тоннеля под Рингштрассе перед Бургтеатром. Глядя на груды камней в его дальнем конце, можно было подумать, что там он и заканчивается, но это была иллюзия. Такова она, подземная Вена, древний мир ходов, камер и галерей: здесь всегда можно найти еще один проход, надо только поискать хорошенько. Низкая влажность в этой части подземелья и стала той причиной, по которой прадед Штефана купил это здание под шоколадную фабрику Ноймана.

Прадеду было шестнадцать лет – столько, сколько сейчас Штефану, – когда он пришел в Вену пешком, без гроша в кармане, и поселился на чердаке дома без лифта, в трущобах Леопольдштадта. В двадцать три он уже открыл свое дело, но продолжал жить на чердаке до тех пор, пока не купил этот дом и не открыл в нем настоящую фабрику, а уже потом построил роскошный особняк на Рингштрассе, где теперь обитают Нойманы.

– Зря ты поторопилась, – сказал Штефан. – Я бы подождал, пока ты не объяснишь уравнение профессору.

– Ты про теорему? Профессору Гёделю ничего объяснять не нужно. Он сам сформулировал теорему о неполноте, перевернувшую сферы логики и математики, когда был немногим старше, чем мы сейчас, причем не прибегая ни к цифрам, ни к иным символам. Его доказательство пришлось бы тебе по вкусу. Он использовал парадокс Рассела и парадокс лжеца, чтобы показать, что если формальная арифметика непротиворечива, то в ней обязательно найдется невыводимая и неопровержимая формула.

Из сумки, как всегда висевшей у него на плече, Штефан достал дневник и записал: «Парадокс лжеца».

– В самом этом утверждении уже содержится фальшь, – продолжала она. – Любое высказывание – либо правда, либо ложь, так? Но если это высказывание правдиво, то тогда оно же и лживо, это вытекает из него самого. А если оно лживо, то оно правдиво. Парадокс Рассела еще интереснее: содержит множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя, себя в качестве элемента или нет? Понимаешь?

Штефан погасил фонарь, чтобы скрыть, до какой степени он ничего не понимает. Надо поискать у отца какой-нибудь учебник по математике: может быть, там понятнее объясняется то, о чем сейчас говорит Зофи.

– Ну вот, теперь я даже не вижу, где ты! – воскликнула Зофи.

Зато он знал, где она. Ее лицо находилось на расстоянии вытянутой руки, и если он подастся вперед, то сможет поцеловать ее в губы.

– Штефан, ты здесь? – спросила она, и в ее голосе он уловил намек на страх, тот самый, который сам иногда испытывал в этом темном подземном мире, где человек мог сгинуть без следа. – Надо же, как сильно пахнет шоколадом даже тут!

Штефан опустил руку в карман и вынул трюфель:

– Открой рот и высунь язык, тогда почувствуешь вкус.

– Неправда.

– Правда.

Он услышал, как она облизнулась, ощутил свежесть ее дыхания. И положил руку ей на плечо – может быть, чтобы найти ее в темноте, а может, и чтобы поцеловать.

Она хихикнула – звук был низкий, воркующий, совсем не похожий на ее обычный смех.

– Не закрывай рот, – нежно произнес он и стал медленно продвигать руку вперед, пока тепло ее дыхания не коснулось его пальцев, а потом положил трюфель ей на язык. – Держи на языке, – шепнул он. – Не глотай, дай шоколаду растаять, тогда вкус несравненный.

Ему хотелось взять ее за руку, но разве такое возможно с девушкой, которая так быстро стала его лучшим другом? Как же тогда их дружба? Он сунул руку в карман – от соблазна подальше, – где нащупал другие трюфели. Коснувшись кончиками пальцев конфет, он взял одну и положил себе на язык не ради шоколада, просто ему хотелось ощущать сейчас то же,

что и Зофи: темно, где-то журчит вода – дождь падает в решетку ливневой канализации, просачивается в подземелье, оттуда – в канал, потом в реку, потом в море, и теплый шоколад медленно обволакивает рот.

– Как странно, вкус есть, и в то же время его нет, – сказала она вдруг. – Шоколадный парадокс!

Штефан подался вперед, думая, что все же рискнет ее поцеловать, а если она отшатнется, он всегда может притвориться, будто случайно наткнулся на нее в темноте. Но тут какая-то тварь, скорее всего крыса, шмыгнула мимо них в темноте, и он инстинктивно нажал на кнопку фонаря.

– Только никому не говори, что я приводил тебя сюда, – предупредил он. – Если родители узнают, что я здесь был, меня запрут дома на веки вечные. Тут, понимаешь ли, разбойники, и потолок может обрушиться, и все такое. А здесь так здорово, правда? Некоторые из этих тоннелей служат водостоками, так что в сильный дождь в них лучше не попадать; по другим течет канализация, туда я и сам не сворачиваю. Но это еще не все. Здесь, в подземелье, есть целые залы, крипты, полные старых костей. Колонны – не знаю, может быть, еще римские. В общем, город под городом, которым в свое время пользовались все, от шпионов и убийц до монахинь. Это подземелье – моя тайна. Я даже друзей сюда не привожу.

– А мы не друзья? – спросила Зофия Хелена.

– Мы не... что?

– Ты сказал, что не приводишь сюда друзей, а меня привел, значит логично предположить, что мы не друзья.

– В жизни не встречал человека, который так бесподобно разбирался бы в деталях, как ты, и так безнадежно ошибался в главном. – Штефан тепло рассмеялся. – И вообще, я тебя сюда не приводил, ты сама это место нашла.

– Значит, мы друзья, потому что меня сюда привел не ты?

– Конечно мы друзья, глупая.

Парадокс дружбы. Они были друзьями и в то же время чем-то еще.

– А до Бургтеатра по этим тоннелям добраться можно? – спросила Зофи. – Вот дедушка бы удивился! Или нет, знаю! Давай пойдем к маме в издательство? Это возле церкви Святого Руперта, и квартира наша тоже там. Тоннели идут туда или нет?

Штефан часто ходил по подземелью, знал много ходов и выходов и не боялся заблудиться, и дорогу к Святому Руперту и ее квартире тоже знал: разведал за те недели, что прошли с начала каникул. Нет, он не следил за ней, ведь он все же не доктор из «Амока». Но он может отвести ее туда длинным путем, через крипты собора Святого Стефана и через три уровня под монастырем, невероятно глубоких. Или они могут пойти через Юденплац, там, где века назад была подземная талмудическая школа, от которой сейчас остались только развалины. А то и через старые конюшни. Интересно, испугается она конских черепов или нет? Но, зная Зофи, Штефан сразу ответил на этот вопрос: не испугается, скорее заинтересуется. Ну и хорошо, значит конюшни отложим до другого раза.

– Ладно, – сказал он. – Тогда нам сюда.

– Игра начинается! – отозвалась она.

– Хотел тебе сказать: я прочитал «Знак четырех». Завтра верну.

– А я еще не закончила «Калейдоскоп».

– Можешь не возвращать. Оставь его себе. Насовсем. – Почувствовав в ее молчании сопротивление, он добавил: – У меня есть второй экземпляр. – На самом деле ничего такого у него не было, просто ему нравилась мысль о том, что одна книга из его двухтомника Цвейга останется у Зофи, может быть, даже будет стоять на полке над ее кроватью, когда она ляжет почитать перед сном. – Тетя Лизль подарила мне этот двухтомник на день рождения, не зная, что у меня уже есть такой, – солгал он. – Так что возьми, мне будет приятно.

– Но у меня нет второго экземпляра «Знака четырех».

– Я его верну, обещаю, – засмеялся он.

Они обогнули груду камней. Железная винтовая лестница за ней упиралась в тротуар наверху, люк был закрыт крышкой из восьми треугольников, чьи вершины, как лепестки цветка, смыкались в центре. Чтобы открыть люк снизу, надо было просто толкнуть его в середину, а снаружи – потянуть. Но они не полезли наверх. Миновав первую лестницу, шагали по подземелью еще несколько минут, пока не нашли вторую лестницу, тоже металлическую. Она привела их вниз, в широкий сводчатый проход из гладко отесанных камней. Здесь вдоль каменной дорожки с железными перилами текла какая-то река, освещенная зарешеченными потолочными светильниками. Когда Штефан и Зофи проходили мимо них, на стены падали их тени, непомерно большие.

– Эта часть подземелья появилась, когда реку решили направить под землю для расширения города, – объяснил он, щелкая фонарем. – А еще это помогло предотвратить эпидемию холеры.

Проход внезапно закончился: вода утекала в узкую горловину, такую же, как у Бургтеатра, только там, чтобы преодолеть ее, путнику пришлось бы окунуться в мутную воду и двигаться вплавь, а здесь над водой был устроен металлический настил, к которому вели ступени. На перилах висела веревка и спасательный жилет – на всякий случай. Они поднялись, прошли по гулкому настилу, снова спустились и на той стороне нашли другой тоннель, сухой и узкий. Штефан опять зажег фонарь. Луч осветил груду щебня.

– Здесь, как у нашего погреба, тоннель тоже частично обрушился. Может, во время войны, – сказал Штефан и направил девушку в узкий проход между камнями и стеной тоннеля.

Пройдя узкое место, он осветил фонарем запертую решетчатую дверь. За ней стояли друг на друге гробы, лежали человеческие кости, разобранные, видимо, по частям тела. Одна куча была сложена только из черепов.

Самая большая пишущая машинка в мире

Около четверти часа Штефан с Зофи Хеленой шли подземными путями, пока наконец не оказались у очередной винтовой лестницы, которая вела к лазу под восьмиугольным люком. Он выходил на улицу недалеко от того места, где работала мать девушки. Правда, был и другой выход, поближе, прямо на той улице, где семья Зофи снимала квартиру, но не такой удобный: вбитые в стену металлические скобы ступеней вели к тяжелой сливной решетке, поднять которую снизу им не хватило бы ни сноровки, ни сил. Теперь же Штефан первым выбрался на улицу и помог выбраться девушке, чью руку, когда она оказалась на мостовой, выпустил с неохотой. Ногой закрыв крышку из треугольников-лепестков, он последовал за Зофи к зданию редакции, где работала ее мать и где можно было увидеть человека, обслуживавшего самую большую пишущую машинку в мире.

– Это линотип, – объясняла Зофия Хелена. – Работает автоматически, как те машины Руба Голдберга. Отливает строчки для газетных полос.

– Трудно такому научиться? – спросил Штефан линотиписта, уже мечтавая набрать на такой машине пьесу.

В свою пишущую машинку он вкладывал несколько листов, переложенных копиркой, и колотил по клавишам изо всех сил, но, поскольку копий все равно выходило мало, приходилось либо сочинять пьесы для небольшого актерского состава, либо перепечатывать одно и то же много раз.

– Пользоваться пишущей машинкой я уже умею, – добавил он.

– Просто удивительно, сколько всего ты знаешь, Штефан, – сказала Зофия Хелена.

– Сколько я знаю?

– Про подземный мир. Про шоколад. Про театр и пишущие машинки. Причем твои знания видны в том, как ты говоришь. Когда я начинаю что-нибудь рассказывать, люди часто смотрят на меня как на чокнутую. А ты как профессор Гёдель. Он тоже иногда исправляет мои ошибки.

– Какие твои ошибки я исправлял?

– Про то, что какао-бобы не едят. И про пещеру, – ответила она. – Иногда я специально говорю что-нибудь неправильно, посмотреть, кто это заметит. Почти никто не реагирует.

В кабинете главного редактора за столиком сидела девчушка моложе Вальтера и рисовала что-то красками, пока женщина – видимо, мама Зофи – разговаривала по телефону.

– Йойо, ты нарисовала мне что-нибудь красивое?! – воскликнула Зофи и, подхватив сестренку на руки, закружила ее в таком вихре смеха, что Штефану тоже захотелось покружиться, хотя, вообще-то, танцы были ему не по нутру.

Мать знаками показала, что уже заканчивает разговор, а в трубку произнесла вот что:

– Да, я понимаю, Гитлер вряд ли будет в восторге, но, знаете ли, я тоже не в восторге от его попыток склонить Шушнига отменить запрет нацистской партии в Австрии. И как наше мнение не мешает ему делать то, что он считает нужным, так и его мнение не должно помешать нам пустить эту статью в печать. – И она, положив трубку на телефонный аппарат, воскликнула: – Зофи! Посмотри, что ты опять сотворила со своим платьем!

– Мама, это мой друг Штефан Нойман, – отозвалась Зофи. – Мы пришли сюда с шоколадной фабрики его дедушки по...

Штефан бросил на нее взгляд.

– Так вот из каких ты Нойманов, – сказала Кэте Пергер. – Надеюсь, ты не забыл захватить с собой немножко шоколаду!

Штефан обтер руки краем рубашки, вынул из кармана два последних трюфеля и протянул хозяйке кабинета. Вот черт, к конфетам пристали ворсинки от подкладки!

– Господи, да я же пошутила! – воскликнула Кэте Пергер, однако тут же протянула руку к конфетам, взяла одну и сунула в рот.

Штефан снял ворсинку с последней конфеты и предложил ее сестренке Зофи.

– Зофия Хелена, – сказала ее мать, – ты прямо-таки превзошла себя, обзаведясь другом, который не только разгуливает по городу с шоколадными конфетами в кармане, но и любит стирку, видимо, не меньше, чем ты.

Штефан взглянул на свой запачканный костюм. Отец его убьет.

– Он мой единственный друг, но пусть лучше один, чем ни одного, хотя ноль математически интереснее единицы, – заметила Зофия Хелена после ухода Штефана.

Сестренка протянула Зофи книгу, девушка села и усадила малышку себе на колени. Открыв книгу на первой странице, она прочла:

– «Для Шерлока Холмса она всегда оставалась „Той Женщиной“».

– По-моему, Иоганна еще маловата для «Скандала в Богемии», – сказала Кэте Пергер.

Зофии Хелене очень понравился этот рассказ, в особенности то место, где король Богемии жалеет, что Ирэн Адлер не одного ранга с ним, а Шерлок Холмс отвечает, что она действительно совсем другого уровня, чем его величество, при этом король считает ее ниже себя, а Холмс – неизмеримо выше. А еще Зофи понравилась концовка, когда Ирэн Адлер обманула их обоих, а Шерлок Холмс отказался принять в награду от короля Богемии кольцо с изумрудной змейкой, предпочтя снимок Ирэн Адлер, в память о женщине, которая смогла обвести его вокруг пальца.

– Он левша, – сообщила Зофи. – Я о Штефане. Как, по-твоему, странно, наверное, быть левшой? Я раз его спросила, но он не ответил.

Мама рассмеялась. Ее смех был похож на круглый красивый ноль, пузырьком звука вздувшийся посреди прямой, уходящей в бесконечность.

– Не знаю, Зофия Хелена. А тебе не странно, что ты так хорошо разбираешься в математике?

Зофия Хелена задумалась.

– Да нет, вообще-то.

– А вот другим, может быть, и странно. Но ты просто такая, какая есть, с самого рождения. Так же и с твоим другом.

Зофи чмокнула в макушку Иоганну.

– Спойм, Йойо? – предложила она и запела, сестренка подхватила, а мама за ней. – Вышла луна; звезды золотые в небе ясном горят.

ВЕНСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ

НАЦИСТСКИЕ ЗАКОНЫ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ «НЕ ОТ НЕНАВИСТИ»

Комиссар министерства юстиции: «Законы возникают из любви к немецкому народу».

Кэте Пергер

БЮРЦБУРГ, ГЕРМАНИЯ, 26 июня 1937 года. Комиссар министерства юстиции Германии Ганс Франк, выступая сегодня на собрании национал-социалистов, утверждал, что нюрнбергские законы были созданы «для защиты нашей расы не потому, что мы ненавидим евреев, а потому, что мы любим немецкий народ».

«Весь мир критикует нас за наше отношение к евреям, обвиняя в излишней жестокости, – сказал Франк. – Однако мир никогда не проявлял беспокойства тем, сколько честных немцев лишились крова из-за финансового давления со стороны евреев в прошлом».

Законы, принятые 15 сентября 1935 года, лишают евреев германского гражданства и запрещают им браки с людьми германской или родственной ей крови. Евреем считается всякий, кто имеет как минимум троих еврейских дедушек-бабушек. Тысячи немцев, принявших другую религию, в том числе римско-католические священники и монахини, объявляются евреями.

Принятие нюрнбергских законов привело к тому, что немецких евреев отказываются лечить в муниципальных больницах, офицеров еврейского происхождения увольняют из армии, а выпускникам университетов запрещают сдавать экзамены на должности преподавателей. В прошлом году в связи с подготовкой к зимним Олимпийским играм в Гармиш-Партенкирхене, а летом в Берлине ограничения были частично сняты, но лишь в качестве временной меры. К тому же после окончания Олимпиады усилия Рейха по арианизации только выросли: работников еврейского происхождения начали увольнять с занимаемых ими должностей, а основанные евреями предприятия стали отнимать у хозяев и передавать неевреям за фиктивную компенсацию или без таковой...

Поиск

Желтый горшок был на месте, стоял на заиндевелем крыльце Веберов. И все же Труус за рулем «мерседеса» миссис Крамарски не спешила: она подъехала к воротам очень медленно, желая убедиться, что горшок, опрокинутый в знак опасности, не вернул на место какой-нибудь услужливый наци. Они уже старики, объяснили ей Веберы при первой встрече; будущего у них и так нет, зато у детей, которых с их помощью удастся спасти, оно, Бог даст, будет долгим. Труус распахнула ворота, заехала внутрь и снова заперла их за собой, радуясь, что догадалась надеть зимнее пальто и юбку. И на малой передаче медленно покатила через поле к тропинке, скрывавшейся в лесу.

Было уже за полдень, когда она заметила в лесу первый признак жизни: что-то зашуршало, как будто олененок пустился наутек, но, остановившись, она увидела ребенка, который зигзагами перебежал от дерева к дереву. Труус до сих пор не могла понять, как они выживали, эти дети: дни и ночи в лесу, под открытым небом, в карманах ничего, кроме использованного железнодорожного билета, пары рейхсмарок у отдельных везунчиков да куска хлеба, который дала отчаявшаяся мать, отправляя ребенка в безнадежный вояж к окраине Германии, где детей не ждал никто, кроме нацистских патрулей и голландских пограничников.

– Все хорошо. Я хочу тебе помочь, – негромко начала Труус, высматривая, где прячется ребенок; очень медленно она открыла дверцу, вышла из машины и продолжила: – Меня зовут тетя Труус, я здесь, чтобы помочь тебе перебраться в Голландию, как говорила твоя мама.

Труус не знала, почему дети вообще верили ей. А может, они и не верили? Иногда ей казалось, что они подпускали ее к себе от бессилия, просто не могли больше бежать.

– Я тетя Труус, – повторила она. – А тебя как зовут? – (Девочка лет пятнадцати молча смотрела на нее.) – Хочешь, я помогу тебе перебраться через границу? – ласково предложила Труус.

Тут из-за куста выглянул мальчик помладше, за ним еще один. Все трое не были похожи друг на друга, значит не родственники. Хотя как знать?

Девочка, бросив на мальчишек быстрый взгляд, спросила:

– А вы нас всех возьмете?

– Да, конечно.

Снова переглянувшись с мальчиками и получив от них, видимо, поддержку, девочка громко свистнула. И тут же, откуда ни возмись, возник еще ребенок. И еще. Господи боже, одиннадцать ребятишек, один совсем кроха! Да, машина будет полнехонька. Дамам из комитета придется постараться, чтобы найти для всех на ночь кров, но это уже не ее забота, а Господа.

«Мерседес» слегка потряхивало на кочках, пока он неспешно катился к ферме Веберов. В салоне друг у друга на коленях и даже на полу сидели дети. Сидели молча, почти не двигаясь, так что в машине было странно тихо, хотя самой старшей из пассажирок едва исполнилось пятнадцать лет. Точно таких же, неразговорчивых и неулыбчивых, ребятишек брали к себе родители Труус в войну.

Труус тогда было восемнадцать. Самое время встречаться с кавалерами, но вместо них к порогу родительского дома в Дуйвендрехте пожаловала война. Непосредственного участия в боевых действиях Нидерланды не принимали, храня нейтралитет, однако в стране было объявлено осадное положение, армия мобилизована, и молодые люди призваны для защиты объектов особого значения, в числе которых дом Труус, разумеется, не значился. Всю войну Труус читала книжки маленьким беженцам. Они прибывали – худые, изможденные, и, глядя на них, девушке хотелось и отдать им последний кусок со своей тарелки, и в то же время съесть все до

крошки, чтобы не отошать так же, как они. Самый вид тех детей вызывал у Труус и злость, и печаль, а их молчание повергало в глубокую грусть ее маму. Придавленная глухим покрывалом тоски, которое обрушило на нее их недетское молчаливое горе, Труус, сама еще девчонка, стала им вместо матери. Она хотела помочь своей маме, но не знала как, пока однажды ночью не выпал первый снег. Проснувшись рано поутру, Труус увидела в окно заснеженные ветки деревьев, пушистые снеговые шапки, смягчившие четкие линии мостов и перил, девственно-белые дорожки – разительный контраст с черной, тихой водой канала. Она тихонько разбудила детей, чтобы они тоже увидели эту картину, а потом стала их одевать, впервые радуясь тому, как глухо звучат их голоса, даже когда они говорят друг с другом. Одевшись, они бесшумно выскользнули на улицу и под зимней луной слепили из искрящегося снега снеговика. Самого обыкновенного. Три грязно-белых кома, поставленные друг на друга, с камешками для глаз, веточками для рук, но без рта, словно дети задались целью создать немое подобие самих себя. Они едва закончили, когда к окну подошла ее мать с чашкой чая в руке. Такая у нее была привычка: утром она всегда подходила к окну, чтобы выпить чая и поглядеть, что ей готовит Господь, как она выражалась. В то утро, увидев детей, она и удивилась, и обрадовалась, хотя дети по-прежнему не шумели и не улыбались. Труус, увидев мать, стала показывать на нее детям – хотела, чтобы они помахали ей. И тут кто-то из мальчиков кинул в окно снежок: белый ком расплющился о стекло и разрушил молчание. Дети вдруг начали смеяться и не могли остановиться, а лицо матери, на миг застывшее от испуга, оттаяло, и она тоже засмеялась. Никогда ни до, ни после Труус не слышала ничего прекраснее того смеха, хотя ей самой было тогда очень стыдно. Как она могла требовать от тех детей чего-то, кроме смеха? Какое право имела хотеть от них что-то для себя?

Вдруг Труус нажала на тормоз автомобиля миссис Крамарски. На земле, у самого крыльца Веберов, лежал опрокинутый желтый горшок, немного земли просыпалось из него наружу. Труус медленно дала задний ход, развернулась и снова поехала в лес, искать другой путь через границу. Всю дорогу она молча молилась, благодаря Бога за Веберов, за их помощь детям Германии, прося его охранить этих мужественных стариков.

Клара ван Ланге

В доме Грунвельда на Ян-Лёйкенстраат измученная Труус – многочасовые поиски выезда из леса ни к чему не привели, и лишь после полуночи, когда бензин был почти на нуле, она, погасив фары, прокралась мимо фермы Веберов на голландскую сторону границы – передала одиннадцать детей волонтерам.

Клара ван Ланге, сидя у телефонного аппарата в ужасной новомодной юбке, обнажавшей икры, прикрыла трубку ладонью и шепнула Труус:

– Это еврейская больница на Ниуве-Кейзерсграхт. – В трубку она сказала: – Да, мы понимаем, что одиннадцать детей – это много, но ведь всего на одну-две ночи, пока мы не найдем им семьи... Они мылись? – Она бросила на Труус тревожный взгляд. – Вши? Нет, конечно, никаких вшей!

Труус торопливо осмотрела детям головы и отвела в сторону мальчика постарше.

– У вас есть частый гребешок для вычесывания вшей, госпожа Грунвельд? – прошептала она. – Хотя конечно есть. Ведь ваш муж доктор.

– Да, мы пришлем человека, который присмотрит за младенцем ночью, – говорила Клара в трубку, потом одними губами протелеграфировала Труус: – Я поеду.

Труус и самой очень хотелось поехать с детьми, однако не следовало оставлять Йоопу одного на всю ночь, а потому ей следует быть благодарной за предложение Клары.

– Ну, кто хочет поплескаться в теплой пенной ванне? – обратилась Труус к детям, а затем попросила женщин: – Госпожа Грунвельд, не могли бы вы с мефрау Хакман помыть младших девочек? – Самой старшей из привезенных детей она сказала: – Если мы наберем тебе ванну, сама справишься?

Та кивнула и добавила:

– Я могу помочь вычесать вшей Беньямину, тетя Труус.

Труус нежно коснулась ее щеки:

– Если бы я могла выбирать себе дочку, милая, она была бы такой же славной, как ты. Иди купаться – в твоём распоряжении славная большая ванна, а я пока пойду поищу тебе соль. – Кларе, которая только что повесила трубку телефона, она сказала: – Госпожа ван Ланге, будьте так добры, приготовьте детям бутерброды с сыром.

– Да, я только что уговорила еврейскую больницу приютить этих детей на ночь, хотя они и беспаспортные, так что спасибо большое, госпожа Висмюллер, – ответила Клара язвительно, чем сильно напомнила Труус ее саму в молодости, с той только разницей, что Клара ван Ланге была красавицей.

И ей совсем ни к чему следовать нелепой новой моде и оголять свои икры, внимание мужчин ей и без того обеспечено. Господи, да в этой юбке даже сидеть спокойно нельзя, чуть зазеваешься – и все колени на виду!

– Конечно, вы ведь так умеете убеждать, Клара, – сказала она вслух. – Вам сам премьер-министр не откажет.

И тут же подумала: «А что, может, попробовать? Вдруг чары госпожи ван Ланге в сочетании с ее модной юбкой действительно окажутся неотразимыми для премьер-министра Колейна?» В последнее время ходили упорные слухи, будто голландское правительство решило запретить иностранцам оставаться в стране – не закрывать границы, но дать понять всем, кто бежал сюда от Рейха, что, не располагая независимыми средствами, они могут рассматривать Нидерланды лишь как транзитный пункт, но не как страну постоянного пребывания.

Мрачный взгляд в окно

Эйхман отодвинул доклад, которым занимался в дороге. Все лавры за него, если, конечно, они будут, достанутся Хагену, его новому начальнику, очередному позеру, притворяющемуся экспертом за счет его, Эйхмана, опыта и знаний. Открыв окно в купе, он с наслаждением дышал воздухом осени, пока поезд трясся по горному перевалу между Италией и Австрией. Морской переход с Ближнего Востока до порта Бриндизи был ужасен: Эйхмана постоянно рвало, так что врач корабельного лазарета на «Палестине» чуть не ссадил его на берег на Родосе. Поездка вообще обернулась сплошной неудачей: целый месяц в дороге, и все ради жалких двадцати четырех часов, которые британцы дали им в Хайфе, отказав в палестинской визе в Каире. Да еще ждать этого отказа пришлось целых двенадцать дней. Вот и все, что они получили за свои хлопоты.

– Евреи надувают друг друга, вот в чем причина финансового хаоса в Палестине, – заявил Хаген.

– Доклад произведет более сильное впечатление, если мы изложим все подробно, господин Хаген, – отозвался Эйхман. – О тех сорока еврейских банкирах в Иерусалиме.

– О сорока еврейских разбойниках, – проворчал Хаген. – И пусть по пятьдесят тысяч евреев уезжают от нас каждый год с наваром, в котором, как считает Полкес, мы не вправе им отказать.

Еврей Полкес, единственный стоящий контакт, который им принесла эта поездка, предложил: если Германия действительно хочет избавиться от своих евреев, то пусть дает каждому по тысяче британских фунтов и гарантирует беспрепятственный выезд в Палестину. Так прямо и сказал: «по тысяче британских фунтов», как будто немецкие рейхсмарки не деньги.

Эйхман прибавил к докладу еще одно предложение: «Наша цель не в том, чтобы позволить евреям вывезти капиталы из Рейха, а в том, чтобы выдавить их самих без средств в эмиграцию».

Карандаш в руке Эйхмана сломался, не выдержав напора мысли. Вынимая из кармана перочинный нож, Эйхман думал о мачехе: холодной, расчетливой женщине, чьи родственники в Вене женились на богатых еврейках из таких семей, которые без своих несправедливо нажитых капиталов с места не сдвинутся, что бы им ни грозило.

– Я вырос здесь, в Линце, – сказал он Хагену, когда поезд, оставив позади долгий, тягучий подъем, выбрался на лесистую вершину, откуда их глазам открылась буквально вся Австрия.

Горный воздух охлаждал Эйхману щеки, совсем как в те дни, когда они с Мишей Себбой бегали в таком же лесу, как этот. Эйхман вдруг почувствовал, что не знает, куда девать руки, – совсем как в тот день на перроне в Линце, пока родители не вложили свои пальцы им в ладони, и после года, проведенного в разлуке, дети и взрослые вместе пошли домой. Тогда ему было восемь, а всего два года спустя нежный голос матери стих, и уже мачеха читала им Библию в тесной квартирке дома № 3 по Бишофштрассе. И вот четыре года промелькнули с тех пор, как он оставил тот дом, целых четыре года он не ходил на могилу матери.

– Мальчиком я целые дни проводил в седле, в лесах вроде этого, – продолжил Эйхман.

Его спутником в лесных вылазках всегда был Миша. Это он научил Эйхмана находить оленя по следам, различать голоса птиц и даже натягивать презерватив, хотя тогда даже сама мысль о том, чтобы засунуть свой пенис в какую-нибудь девчонку, еще казалась Эйхману дикой. Он до сих пор чувствовал презрение, которым обдал его Миша в ответ на его слова о том, что символ их скаутского отряда – волшебная птица гриф. «Что? Никакая это не волшебная птица, а просто вид стервятника, который жил в здешних горах давным-давно, питался падалью и исчез задолго до того, как родились наши деды». Конечно, Миша завидовал: ему

тоже хотелось проводить выходные со старшими мальчиками, носить скаутскую форму, ходить по горам в походы, носить флаги, но его не брали в отряд, потому что он был евреем.

Эйхман принялся затачивать карандаш.

– Я страстно люблю верховую езду. В юности я учился стрелять в здешних лесах, в компании лучшего друга Фридриха фон Шмидта. У него была мать-графиня, а отец – герой войны.

Фридрих привел его в германо-австрийскую ассоциацию молодых ветеранов, и они вместе участвовали в полувоенных сборах. Но лучшим другом Эйхмана оставался Миша, и это не изменило даже вступление Эйхмана в партию – 1 апреля 1932 года он получил членский билет № 899 895. Они много спорили, но все же дружили до тех пор, пока Австрия не закрыла все Браун-хаусы – центры партии нацистов, а самого Эйхмана не вытурили с работы в компании «Вакуум ойл»³ – ни за что, только за политику. Пришлось ему сложить в чемодан сапоги, форму и ехать в Германию на поиски пристанища, которое он обрел в Пассау.

– Мы не будем вкладывать в Палестину немецкие деньги, даже если это деньги немецких евреев, – сказал Хаген.

Повернувшись к виду за окном спиной, Эйхман придвинул к себе доклад и написал: «Поскольку вышеупомянутый выезд из Германии пятидесяти тысяч евреев ежегодно в конечном итоге приведет к усилению иудаизма в Палестине, то данный план не может быть предметом серьезной дискуссии».

³ «Вакуум ойл» – американская компания по производству смазочных масел.

Автопортрет

Зофия Хелена, Штефан и его тетя Лизль стояли перед картиной, с которой начиналась выставка в Доме сецессиона, – «Автопортрет художника-дегенерата». Девушка испытывала неловкость и от самой картины, и от ее названия.

– Что ты о ней думаешь, Зофия Хелена? – спросила Лизль Вирт.

– Я ничего не знаю о живописи, – ответила Зофи.

– Чтобы чувствовать искусство, вовсе не обязательно что-то о нем знать, – заверила ее Лизль. – Просто расскажи, что ты видишь.

– Ну, лицо какое-то странное: разных красок много, но они красивые и сливаются вместе, так что похоже на кожу, – начала Зофи неуверенно. – Нос очень большой, а подбородок такой длинный, будто художник смотрел в кривое зеркало.

– Многие художники склонны к анализу в своих абстракциях, – объяснила Лизль. – Пикассо. Мондриан. Кокошка более эмоционален, его живопись скорее интуитивна.

– Почему он называет себя дегенератом?

– Это ирония, Зоф, – сказал Штефан. – Так Гитлер называет художников вроде него.

Зоф, а не Зофи. Ей нравилось, когда Штефан называл ее так или когда сестренка звала ее Зозо.

Они перешли к другому портрету – черноволосая женщина, почти правильный треугольник лица. Глаза разного размера, лицо в красных и черных пятнах, руки жутко вывернуты.

– Такая уродина, но почему-то красивая, – сказала Зофи.

– Правда же? – обрадовалась Лизль.

– Похожа на тот портрет у вас в прихожей. – Зофия Хелена повернулась к Штефану. – Женщина с расцарапанными щеками.

– Да, это тоже Кокошка, – подтвердила Лизль.

– Но нарисованы на нем вы, – сказала Зофия Хелена. – И намного красивее.

Теплые овалы смеха звонко падали изо рта Лизль. Она положила руку на плечо Зофии Хелены. Раньше так иногда делал папа. Девушка замерла: ей хотелось, чтобы это прикосновение длилось вечно, а еще ей было жаль, что у нее нет портрета папы работы Оскара Кокошки. Конечно, у нее есть папины снимки, но почему-то на фоне этих картин фотографии показались Зофи какими-то ненастоящими, хотя и более точными.

Босиком на снегу

Труус и Клара ван Ланге сидели у заваленного бумагами письменного стола в кабинете господина Тенкинк в Гааге. Там же присутствовал и господин Ван Влит из министерства юстиции. На столе перед господином Тенкинком лежал составленный Труус документ, который разрешал пребывание в Нидерландах детей из леса Веберов, и ждал лишь подписи высокого начальника. Труус давно поняла: если хочешь, чтобы непростое решение было принято быстро, лучше заранее подготовить все бумаги и поднести их чиновнику на блюдечке, как пилюлю, чтобы тому оставалось только проглотить ее.

– Дети – евреи? – спросил Тенкинк.

– Мы уже подыскивали им дома, – ответила Труус, не обращая внимания на взгляд, который бросила на нее Клара ван Ланге.

В отличие от Труус Клара очень уважала чистую правду, и неудивительно: она ведь еще так молода, к тому же и замуж вышла совсем недавно.

– Да, положение тяжелое, госпожа Висмюллер, я понимаю, – сказал Тенкинк. – Но половина голландцев симпатизирует сейчас нацистам, и больше половины тех, кто им не симпатизирует, не хотят превращать свою страну в перевалочный пункт для евреев.

Господин Ван Влит сделал попытку вмешаться в разговор:

– Правительство не хочет злить Гитлера...

– Вот именно, – подхватил Тенкинк, – а похищать детей страны-соседа не самое лучшее выражение дружеских намерений.

Труус положила руку на локоть Ван Влита. Из двоих мужчин, находившихся в кабинете, Тенкинк был особенно падок на женщин. Слабость многих мужчин, даже самых лучших. Жаль, что она не привезла сюда детей: ведь так трудно ответить «нет» темнокудым головкам и жалобным детским глазам. И нет ничего проще, чем отказать абстрактному ребенку, а тем более одиннадцати. Но она пожалела измученных ребятишек: зачем вытаскивать их из теплых постелей, усаживать в поезд и везти из Амстердама в Гаагу лишь для того, чтобы представить их человеку, от которого зависело принятие правильного решения и который никогда прежде не отказывался его принимать.

Труус вновь обратилась к Тенкинку:

– Королева Вильгельмина с сочувствием относится к тяготам, выпавшим на долю жителей Германии, и к их стремлению избежать ярости Гитлера.

– Но и в королевской семье... – начал Тенкинк. – Поймите, проблема евреев – это огромная проблема. И если Гитлер приведет в исполнение свой план аннексии Австрии...

– Канцлер Шушнинг отправил вождей австрийского нацизма за решетку, – возразила Труус, – к тому же Вена, пожалуй, единственный на свете город, благосостояние которого полностью зависит от евреев. Почти все врачи, адвокаты, финансисты и добрая половина журналистов Вены – евреи, если не по вере, то по происхождению. Что до меня, то я просто не представляю себе путч, который одолеет австрийские деньги вкупе с австрийской прессой.

– Госпожа Висмюллер, я вам не отказываю, – ответил Тенкинк. – Просто хочу подчеркнуть, что все было бы куда проще, будь это христианские дети.

– В следующий раз, когда госпожа Висмюллер будет вывозить детей из страны, которая уже расправилась с их родителями, она непременно примет это во внимание, – язвительно заметила Клара.

Сдерживая улыбку, Труус потянулась за снимком, который стоял среди бумаг на столе Тенкинка: на нем был сам Тенкинк, только моложе, его пухленькая жена, двое сыновей и толстощекая девочка-карапуз. Клара всегда была скоро на язык, почему Труус и взяла ее с собой.

– До чего славная семья! – воскликнула Труус.

Откинувшись на спинку стула, она внимательно слушала горделивый отцовский монолог Тенкинка, ничем не выказывая своей причастности к этому словоизвержению, которое, в сущности, сама и спровоцировала. Уж чего-чего, а терпения ей было не занимать.

Она протянула снимок Тенкинку, тот взглянул и расплылся в улыбке.

– Среди немецких детей есть и младенец, он младше вашей дочки на этом фото, господин Тенкинк. – Труус намеренно сказала «немецких», а не «еврейских», чтобы не заострять лишний раз именно ту характеристику маленьких беженцев, которая вызывала особое беспокойство чиновника, а заодно сделать очередной ход, пока он держит снимок в руках. – Младенцы такие милые, прямо сердце тает, когда глядишь на них, правда?

Взгляд Тенкинка скользнул с семейного портрета на документ, лежавший перед ним, и устремился к Труус.

– Мальчик или девочка?

– А кого предпочитаете вы, господин Тенкинк? С младенцами ведь не поймешь, особенно когда их наряжают для фотографии.

Тенкинк, качая головой, поставил на документе свою подпись:

– Госпожа Висмюллер, надеюсь, когда немцы захватят Нидерланды, вы поручитесь за меня. Такое впечатление, что вы кого угодно уговорите.

– Господь этого не допустит, – ответила ему Труус. – Но если такое все же произойдет, то лучшего поручителя, чем Он, вам не сыскать. Спасибо. Детей, которым нужно помочь, еще так много.

– Ну знаете ли... – начал господин Тенкинк, – если в этом...

– Я понимаю, что это невозможно, – перебила его Труус, – но я получила известие о том, что в германских Альпах банда эсэсовцев среди ночи ворвалась в сиротский приют и выгнала на улицу тридцать сирот, прямо в пижамах.

– Госпожа Висмюллер...

– Тридцать ребятишек в пижамах стояли босыми на снегу и смотрели, как эсэсовцы поджигают их приют.

– И куда же подевались те, которых всего одиннадцать? – Тенкинк вздохнул и, бросив взгляд на семейное фото, добавил: – Полагаю, эти тридцать тоже евреи? Вы что, вознамерились вывезти из Рейха всех евреев до единого?

– Сейчас в Германии им дают кров те, кто евреями не является, – сказала Труус. – Не стану лишним раз напоминать вам о том, как нацисты поступают со всеми, в том числе с христианами, если те нарушают запрет помогать евреям.

– Со всем моим уважением, госпожа Висмюллер, хочу заметить, что запрет нацистов помогать евреям распространяется и на голландских женщин, которые пересекают границу с целью... – (Взгляд Труус уперся в семейное фото.) – Даже захоти я помочь... Ходят слухи, что закон о закрытии границ будет принят у нас в ближайшие недели, а может быть, и дни. Не располагая более точной информацией, не вижу, как я...

Труус протянула ему коричневую папку с зелеными завязками: вся информация, которая могла ему потребоваться, уже лежала там. Оставалось только проглотить.

– Ну хорошо. – Тенкинк помотал головой. – Ладно. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы принять их на временном основании. Но лишь до тех пор, пока им не найдут дома за пределами Нидерландов. Вы меня поняли? У них есть где-нибудь родственники? В Англии, в Соединенных Штатах?

– Ну конечно есть, господин Тенкинк, – ответила Труус. – Потому-то они и оказались босиком на снегу возле горящего еврейского приюта.

Демонстрация бесстыдства

Лизль Вирт с мужем стояла на выставке Entartete Kunst⁴ в Германском археологическом институте в Мюнхене. Вокруг громоздились полотна кубистов, футуристов и экспрессионистов, изгнанные из всех немецких музеев за несоответствие установленным фюрером художественным «стандартам», выставленные и оцененные с расчетом на то, чтобы вызвать насмешки публики. Но всякий, кто обладал хоть каплей художественного вкуса, видел, что на их фоне картины Большой германской художественной выставки, открытой с благословения самого Гитлера в Доме немецкого искусства тут же, в Мюнхене, – всего лишь любительская мазня, а скульптуры – сплошь скучные ню. Нет, ну правда, это как надо было постараться, чтобы обнаженная натура выходила настолько безжизненной, как у этих «великих» германских художников? И они еще смеют называть дегенеративным искусством вот это? Этого Пауля Клее, роскошного в своей простоте: рваные линии лица рыболова, грациозная S-образная линия рук, чарующий выпад удочки над синей гладью, разнообразной и изменчивой, как море. Почему-то картина напомнила ей Штефана. Странно... Кажется, она ни разу не видела племянника с удочкой в руках.

– Тебе нравится? – спросила она у Михаэля и сама удивилась своему вопросу; всего пару недель назад ей и в голову не пришло бы сомневаться: раз нравится ей, значит должно нравиться и ему. – Я про того Клее, «Рыболова», – уточнила она.

Картины нарочно были развешены в беспорядке, утомительном для глаз, а размашистая надпись на стене: «Безумие как метод» – еще и подчеркивала неуважение.

Поскольку Михаэль молчал, она сосредоточилась на буквах.

Вдруг за ее спиной раздался взрыв смеха: реакция недоумков соответствовала ожиданиям устроителей выставки.

– А я слышала, Геббельсу нравятся модернисты, – прошептала она мужу.

Михаэль нервно оглянулся:

– Нравились, Лиз, пока Гитлер не заявил, что дегенеративное искусство подрывает дух германской культуры. После его речи в гору пошли Вольфганг Вильрих и Вальтер Хансен.

Эти доносчики – оба никудышные художники, зато преуспевающие стукачи – решали теперь, что в искусстве следует восхвалять, а что – обливать грязью.

– Да и сама эта выставка – идея Геббельса, – добавил Михаэль. – Политически очень умный ход.

Лизль повернулась к Клее и Михаэлю спиной. Когда ее муж начал ценить политическую изворотливость превыше выразительности в искусстве?

Даже Густав и Тереза Блох-Бауэр устали от наци, когда те полезли в культуру, хотя раньше оба были так заняты каждый своей жизнью и семьей, что даже не заметили туч, сгустившихся на политическом небосклоне Германии и Австрии. В Австрии вообще многие считали Гитлера явлением преходящим, мол, побалуются немцы с этим выскочкой да и забудут. Вот мы, австрийцы, пережили политическое убийство канцлера Дольфуса вкупе с неудавшимся нацистским переворотом три года назад, и они переживут, а у нас есть дела поважнее политики: надо зарабатывать деньги, растить детей, ходить в гости, позировать для портретов и покупать произведения искусства.

Лизль сделала вид, будто заинтересовалась другой картиной, от нее перешла к статуе, и так дальше, пока не оказалась в другом зале, где не было ее мужа. Там она любовалась автопортретами Ван Гога и Шагала, Пикассо и Гогена, пока ее взгляд не уперся в стену, полностью

⁴ «Дегенеративное искусство» (нем.), термин, принятый в 1920-е годы нацистской партией Германии для описания модернистского искусства. В 1937 году в Германии прошла выставка с таким названием.

отведенную дадаистам, представленным, конечно, в отнюдь не лестном виде. И, только войдя в следующий зал, который она про себя назвала еврейским, Лизль вдруг ощутила всю шаткость своего положения. «Откровения еврейской души» – было написано на стене. Картины показались ей необыкновенными; что бы ни открывали они взгляду, ей захотелось, чтобы это было частью ее собственной души.

И в то же время она, еврейка, вдруг перестала ощущать себя в безопасности здесь, в Германии, одна среди враждебно настроенных немцев.

Конечно, он был смешон, этот невесть откуда нахлынувший страх. В конце концов, Мюнхен всего в часе езды от границы. Всего час – и она дома, в Австрии.

Однако надо пойти поискать Михаэля.

Мужа она застала у картины Отто Дикса: беременная женщина с таким непомерно раздутым животом и грудями, что Лизль, взглянув на нее, почти порадовалась своему бесплодию. Но устремленный на картину взгляд Михаэля был полон желания. Он много раз говорил, что ему не нужен наследник: шоколадную фабрику Нойманов получит Вальтер, а Штефану достанется бизнес его семьи – банк, который уберегли от полного разорения деньги все тех же Нойманов, хотя Лизль ни за что не сказала бы этого вслух. Михаэль был гордым потомком гордого семейства, переживавшего не лучшие времена, причиной которых были не они сами: многие пострадали, когда обрушились финансовые рынки. И Лизль всегда щадила гордость мужа, а он – ее. Штефан ему как сын, повторял Михаэль, да и Вальтер тоже. Но и до этого момента на выставке, до этого взгляда, ставшего для нее откровением, Лизль уже чувствовала, что Михаэль все слабее и слабее реагирует на ее университетское образование и интеллектуальный шарм, за которые, по его словам, он влюбился в нее когда-то.

Она обратилась к какому-то незнакомцу с вопросом, чтобы Михаэль, услышав ее голос, успел вернуть лицу привычное выражение. Потом подошла к мужу, взяла его под руку и сказала:

– Можно купить того Клее. – Сказала просто так, чтобы не молчать, но Клее они уже не купят, ни здесь, ни где-либо еще, и не только из-за цены.

На набережной

Пасмурное небо грозило дать новый снежный залп, впрочем грязную корку на тротуарах и поцарапанный старый лед каналов давно пора было освежить. Гуляя вдоль канала Херенграхт, Труус и Йооп видели три баржи – те прочно вмерзли в лед. В Амстердаме в последние недели только и разговоров было что об Элфстедентохт⁵ – состоится он в этом году, впервые с 1933 года, или нет. У моста рядом с их домом на льду стояли люди. Это были родители, они болтали, а дети носились вокруг них: те, что постарше, на коньках, младшие просто в ботинках. Труус особенно любила это время суток, когда они с Йоопом возвращались домой, – совсем как в те дни, когда он еще только начинал ухаживать за ней, молоденькой выпускницей Школы коммерции, пришедшей работать к ним в банк.

– Я не говорю «нет», Труус, – произнес Йооп нынешний. – Я ничего тебе не запрещаю. Ты же знаешь, я никогда не запрещаю тебе то, что для тебя важно.

Труус засунула руку в перчатке глубже в карман. Йооп вовсе не напрашивался на ссору и не собирался унижать жену. Так говорили тогда все мужчины, даже самые лучшие из них, ведь они выросли еще в те времена, когда женщины не могли даже голосовать, точнее, когда голосовать могли только состоятельные мужчины.

Они остановились посмотреть на малыша – непривычный к конькам, он растянулся на льду, едва не утянув за собой сестру.

– Я тоже никогда не стала бы запрещать тебе то, что для тебя важно, – сказала Труус.

Йооп ласково рассмеялся, не снимая перчаток, взял жену за локти, вынул ее руки из карманов и взял их в свои:

– Ладно, признаю, заслужил. Надо было записать это в наш брачный контракт: обязуюсь любить тебя, быть с тобой честным и никогда ничего тебе не запрещать, важное или не очень.

– Ты ведь не считаешь, что спасение тридцати детей, которых нацисты выгнали на снег в одних пижамах, – это не важно?

– Конечно я так не считаю, – ответил он мягко. – Ты же знаешь. Просто я хочу, чтобы ты задумалась. Ситуация в Германии день ото дня становится все более напряженной, и я беспокоюсь за тебя.

Труус стояла рядом с мужем и смотрела на конькобежцев, на девочку, которая помогала братишке подняться со льда.

– Но если ты всерьез настроилась ехать, – продолжил Йооп, – то лучше сделать это сейчас, пока не стало еще хуже.

– Я жду, когда господин Тенкинк оформит въездные визы. Ты что-то хотел мне рассказать?

– Да, мне сегодня звонили в банк, звонок был очень странный. Господин Вандер Ваал, ты его знаешь, утверждал, что у тебя есть кое-что ценное, и эта вещь принадлежит его клиенту. Будто бы ты вывезла это для него из Германии.

– Я? Вывезла? С какой стати мне провозить что-то через границу для абсолютно незнакомого человека?! – Труус тревожно нахмурилась, глядя, как взрослый мужчина, видимо отец, подкатил к мальчику с девочкой и взял малыша за ручку. – Весь мой ценный груз ограничивается детьми, клянусь тебе!

– Так я ему и сказал, – ответил Йооп. – И заверил его, что ты никогда не станешь связываться с контрабандой.

⁵ *Элфстедентохт* (тур одиннадцати городов) – нерегулярный конькобежный марафон на дистанцию около 200 км, проводится во Фрисландии (Нидерланды) с 1890 года.

Девочка на льду взяла братика за другую ручку. Малыш что-то пролепетал, отчего все трое засмеялись, а потом покатали к мосту и скрылись под ним, причем отец обернулся и крикнул другим взрослым, что увидится с ними завтра. Труус отвела от них взгляд и стала смотреть сквозь голые ветки деревьев на серое небо. Сколько же раз она наблюдала за тем, как взрослые встречаются здесь, на канале, заводят знакомства, болтают друг с другом, пока дети катаются вокруг них на коньках? Много, но еще ни разу – с мужем. Этот кусочек своей жизни она прятала ото всех, даже от него. После третьего выкидыша они с Йоопом, не сговариваясь, поменяли свою жизнь: Труус вступила в Ассоциацию за интересы женщин и равные гражданские права, занялась общественной работой, стала помогать детям вроде тех, которых спасали в войну ее родители.

Раздался паровозный свисток. Не вынимая рук из ладоней мужа, Труус смотрела на замерзший канал и думала о том, приходит ли он сюда без нее посмотреть на детей? Она знала, что ему не меньше, чем ей, хочется, чтобы у них был ребенок, может быть, даже больше. Но она старательно прятала от него свою боль, и так же поступал он – каждый боялся ранить другого демонстрацией своего несчастья. Много лет тема их бездетности оставалась запретной, молчание вошло у них в привычку, изменить которую казалось теперь невозможным. Вот и сейчас Труус хотела и не отваживалась протянуть руку, коснуться щеки мужа и спросить: «Йооп, а ты не приходишь сюда один посмотреть на ребятишек? На их родителей? Как думаешь, может, нам стоит попробовать еще разок, самый последний?» Молча она стояла рядом с ним, глядя на мирную зимнюю картину: дети режут коньками лед, родители болтают, сгрудившись посреди канала, а по краям вмерзшие в лед лодки обещают далекую пока весну.

Бриллианты, и не фальшивые

Утром, когда Йооп ушел в офис, Труус выдвинула ящик туалетного столика и отыскала в нем спичечный коробок, который дал ей однажды человек в поезде. Неужели с тех пор прошел целый год? Открыв коробок, она вытряхнула из него на стол невзрачный приплюснутый кусок гальки, занимавший в коробке все пространство, и с силой потерла его большим пальцем. Камень распался на куски.

Она пошла на кухню, сложила их в миску и залила водой. Опустив в миску руки, она пальцами оттирала каждый камень, и вода постепенно мутнела. Вынув камни, Труус разложила их на мокрой ладони.

Да, старая истина подтвердилась: легче всего обвести вокруг пальца того, кто сам занят каким-то обманом.

Труус набрала номер конторы Вандера Ваала.

– Господин Вандер Ваал, – сказала она, – я должна принести вам свои извинения. Кажется, мой муж ошибся. У меня действительно есть нечто, принадлежащее доктору Брискеру.

Внутри «талисмана» было спрятано около дюжины бриллиантов – их общей стоимости вполне хватило бы, чтобы начать новую жизнь. Этот доктор Брискер осознанно послал ее на риск, сделав своим тайным курьером, причем обставил все так, чтобы у нее рука не поднялась выбросить его «талисман» в первую попавшуюся урну. Больше того, он поставил на карту жизнь троих детей, и все ради того, чтобы вывезти из Германии часть своего богатства. А она попала на его удочку как последняя дура.

Мотоштурмфюрер

Организованная СД конференция по еврейскому вопросу в Берлине стала триумфом Эйхмана. Первыми выступили Даннекер и Хаген. Даннекер говорил о необходимости постоянного надзора за евреями, а Хаген – о сложностях, которые возникнут, если Палестина получит независимость и потребует соблюдения прав евреев в Германии. Поднимаясь на трибуну, Эйхман чувствовал себя свободным, как в молодости, когда он гонял по Австрии на мотоцикле и защищал заезжих нацистских ораторов от ярости толпы, забрасывавшей их бутылками и всякой тухлятиной. Он и его друзья тогда последними уходили с таких собраний, переколотив предварительно все зеркала и все пивные кружки. Поездка в Палестину, хотя и закончилась ничем, утвердила его авторитет как знатока еврейского вопроса. И вот он на трибуне Еврейского собрания, и теперь уже его приветствует толпа.

– Истинный дух германской нации – в ее народе, в крестьянах, в природе Германии, в нашей крови и в почве незапятнанной отчизны, – начал он. – Но перед нами стоит угроза еврейского заговора, и я один знаю, как его победить.

Толпа взрывалась возгласами одобрения, пока он говорил о вооружении и военно-воздушных силах Хаганы, о евреях-иноземцах, которые, прикрываясь положением сотрудников международных организаций, похищают секреты Рейха и передают их его врагам, о гигантском спруте антигерманского заговора, возглавленного Всемирным еврейским союзом, чьим фасадом в Германии служил завод «Юнилевер» по производству маргарина.

– Путь к окончательному решению еврейского вопроса лежит не через юридическое ограничение деятельности евреев в Германии и даже не через уличное насилие! – выкрикнул он, пытаясь перекрыть рев толпы. – Мы должны установить личность каждого еврея в Рейхе. Составить их поименные списки. Определить возможности их эмиграции в малые страны. И – самое главное – лишить их любых активов, чтобы, оказавшись перед выбором, жить здесь в нищете или уехать, евреи сами предпочли бы отъезд.

Выбор

За окном темнело позднее зимнее утро, когда Труус и ее муж сели за завтрак. Откусив первый кусок своего аутшмайтера – горячего бутерброда с яйцом, ветчиной и сыром, – она взялась за газету.

– Господи Боже мой, они это сделали, Йооп! – воскликнула она.

Муж лукаво улыбнулся ей через стол:

– Что, неужели еще укоротили юбки? Я знаю, ты предпочитаешь подолы пониже, хотя у тебя самые восхитительные коленки во всем Амстердаме.

Она бросила в него хлебным шариком. Он поймал его, закинул в свой щедрый рот и вновь сосредоточил все внимание на тарелке, продолжая поглощать завтрак. Наслаждение, с которым он это делал, всегда вызывало зависть у Труус – сама она никогда не получала столько удовольствия от еды, даже если новости в газете не оставляли желать лучшего.

– Правительство приняло новый закон, запрещающий иммиграцию из Рейха, – сказала она.

Йооп прекратил есть и внимательно посмотрел на нее:

– Труус, ты ведь знала, что они это сделают. Сколько времени прошло с тех пор, как опубликовали список «защищенных» профессий, – год, да? И в него вошли почти все виды занятости, доступные иностранцам.

– Не думала, что мы до такого докатились. То есть теперь наши границы полностью закрыты?

Йооп взял у жены газету и погрузился в чтение передовицы, оставив Труус наедине со своими покаянными мыслями. Надо было сильнее надавить на господина Тенкинка, поторопить его с визами для тех тридцати сирот. Тридцать. Слишком много для одного паспорта, особенно ее, в котором детей вообще не значится. И все равно она должна была попробовать.

– Мы все еще можем давать убежище тем, кому грозит опасность, – сказал Йооп, возвращая газету.

– Тем, кто может *доказать*, что им грозит опасность *физической* расправы. А кому из евреев Германии она не грозит? И как они могут это доказать, если наци приходят и хватают людей без предупреждения, так что доказывать становится просто некому?

Труус снова уткнулась в газету. Мысленно она уже рассматривала расписание поездов на Гаагу. Конечно, если правительство приняло такое решение, повлиять на него она уже не в силах, но, может быть, все же удастся уломать Тенкинка поискать какой-то обходной путь.

– Гертруда... – начал Йооп.

Гертруда. Да, она снова опустила газету. Увидела волосы Йоопа, поседевшие на висках, его твердый подбородок, левое ухо то ли чуть больше правого, то ли чуть сильнее оттопырено; сколько лет она замужем, а все никак не поймет, в чем тут дело.

– Гертруда, – повторил Йооп, собираясь с духом, – а ты никогда не думала о том, чтобы взять кого-нибудь из этих детей к нам, как делали во время Великой войны твои родители?

– Чтобы они жили с нами? – осторожно уточнила она, и он кивнул. – Но ведь они сироты, Йооп. У них нет родителей, которым мы могли бы вернуть их потом.

Йооп снова кивнул, глядя на жену. И по тому, как он щурил светлые глаза, словно пытаясь скрыть от нее свои чувства, она поняла: да, муж тоже останавливался у канала, смотрел на играющих детей, наблюдал за их родителями.

Она потянулась через стол и накрыла его руку ладонью, стараясь не поддаваться проснувшейся вдруг надежде. Йооп не любит, когда она дает волю чувствам.

– У нас есть свободная спальня, – сказала она.

Он поджал губы, отчего его крупный подбородок стал еще более заметным.

– Я тут как раз думал, что пора нам подыскать жилье побольше.

Труус опустила глаза и снова увидела статью о новом иммиграционном законе.

– Квартиру? – спросила она.

– Мы можем позволить себе и дом.

Он сжал ей руку, и она поняла: да, именно этого она хочет и этого же хочет он. Они оба хотят другую семью. Ту, которую человек выбирает сам, а не получает по воле Бога. Детей, которых он выбирает любить.

– Тебе тяжело придется с ними во время моих отъездов, – произнесла она.

Йооп слегка откинулся на спинку стула, его пожатие ослабло, пальцы стали гладить ее кольца: золотое, надетое в день свадьбы; второе, с рубином, настоящим, а не фальшивым, как те, которые она заказала, когда начала возить через границу детей; и третье, из двух переплетенных ободков, – его подарок на ее первую беременность, которая, как они оба надеялись, станет началом их новой семьи.

– Нет, Труус, без тебя это будет не тяжело, а невозможно, но ведь этот закон означает, что поездки в Германию прекратятся.

Труус взглянула в окно: Нассаукаде, канал, мост, Раампорт – все скрывала тьма. На той стороне канала, в окне третьего этажа, тоже горел свет, и было видно, как отец склоняется над ребенком, сидящим в кроватке. Амстердам еще только просыпался. Но улицы, пустынные сейчас, скоро заполнятся бегущими в школу детьми с книжками в руках, мужчинами, шагающими на службу, как Йооп, и женщинами вроде нее – одни пойдут на рынок, другие, с колясками, несмотря на морозное утро, отправятся на прогулку, собираясь по дороге в парочки и группы.

Математика музыки

– Что мы здесь делаем? – шепнула Зофия Хелена Штефану.

Едва пройдя переднюю, где пахло ладаном, они попали в длинную очередь: хорошо одетые люди спускались откуда-то сверху к дверям капеллы Хофбурга. Зофи сделала все, как велел ей Штефан, хотя он и не объяснил зачем: принарядилась и встретила с ним у статуи Геракла на Хельденплац.

– Мы стоим за причастием с людьми, которые спустились сюда из лож, – ответил Штефан.

– Но я же не католичка.

– Я тоже.

Зофи вошла за ним в капеллу, небольшую и на удивление скромную – по королевским меркам, конечно. Узкое, устремленное вверх готическое пространство, опоясанное балконами для оркестра и хора, было сплошь белым. Даже стекла в алтарном окне были подкрашены лишь сверху, отчего казалось, что они вот-вот перевернутся.

Проглотив крошечный кусочек мерзкого на вкус хлеба и глоток кислого вина, Зофи прошептала Штефану, отходя следом за ним от алтаря:

– Какая гадость!

Штефан улыбнулся:

– А в твоей церкви что, причащают тортом «Захер»?

Причастившись, люди снова устремлялись по лестнице наверх, но Штефан не пошел за ними, а остался стоять у выхода из капеллы. Зофи держалась рядом. Когда причастие закончилось, Штефан подвел ее к открытым рядам в задней части капеллы. Там, пока они сидели, ожидая окончания мессы, Штефан достал свой дневник и записал: «Причастие – какая гадость!»

По какой-то причине, совершенно непонятной Зофи, они продолжали сидеть там и когда месса закончилась. Люди вообще не спешили расходиться, хотя священник уже покинул алтарь. Тогда Зофи стала рассматривать нервюры, благодаря которым вес белых потолочных сводов переносился на столбы, а давление передавалось внешним стенам. Будь с ней кто-нибудь другой, не Штефан, она не осталась бы здесь и минуты, но с ним все было иначе: во всем, что он делал, всегда был какой-то смысл.

– Знаешь, почему этот потолок не падает? – прошептала она.

Штефан поднес ладонь к ее губам, потом снял с нее очки, протер их уголком ее же шарфа и снова надел ей на нос. Улыбнулся и тронул пальцем ее подвеску – знак бесконечности.

– Вообще-то, это не совсем папин подарок, – зашептала она опять. – Сначала это была его булавка для галстука, он получил ее в школе. А потом, когда папа умер, дедушка отдал переделать ее в подвеску для меня.

Мальчики в сине-белой матросской форме стали входить в капеллу и рядами выстраиваться перед алтарем. Вдруг в полной тишине с хора зазвенел прекрасный одинокий голос – первая высокая нота шубертовской «Аве Мария». Звуки, рожденные чистым голосом мальчика-сироты, текли ритмично, восходя, опускаясь, снова восходя, и падали, падали Зофи прямо в душу, в какое-то место, о котором она даже не знала, что оно есть. Солисту вторил хор: прекрасные юные голоса взмыли к белым готическим сводам, эхом отразились от них и осыпали Зофи дождем звуков, почему-то приведя ей на память то уравнение, над которым она билась последние две недели, словно и ноты, и цифры были рождены в одном раю. Она сидела, чувствуя, как музыкальный дождь затекает внутрь ее существа, заполняя пустоты между цифрами и математическими символами. Пение закончилось, публика стала расходиться, а она все сидела рядом со Штефаном, пока они не остались одни в пустой капелле, этом самом наполненном из всех известных ей пустых пространств.

Рогалик и чашка шоколада по-венски

На Михаэлерплац, куда они вышли, оставив позади капеллу и Хофбург, было чисто, ярко и холодно. С грузовиков раздавали листовки и плакаты: «Да!», «С Шушником за свободную Австрию!» или «Скажи „Да“ на выборах». Канцлер Шушник объявил плебисцит, чтобы решить, должна ли Австрия оставаться независимой от Германии. На стенах и тротуарах горели красно-белые кресты Отечественного фронта – партии канцлера. Толпы на улицах скандировали: «Хайль Шушник!», «Да здравствует свобода!» и «Красно-бело-красные до гроба!». Особенно усердствовала молодежь, многие кричали: «Хайль Гитлер!»

Зофи не смотрела по сторонам. Шагая со Штефаном по Херренгассе к кафе «Централь», она прислушивалась к себе, к той перекличке музыки и математики, которая все еще происходила у нее внутри. А Штефан если и беспокоился из-за скандирующих толп вокруг, но тоже ничего не говорил. Впрочем, он молчал с тех пор, как раздалась первая нота в капелле. Зофи решила, что музыка, должно быть, увлекла его в мир слов, так же как ее она увлекла в мир цифр и математических символов. Наверное, именно поэтому они со Штефаном и стали не разлей вода, хотя у него есть другие друзья, с которыми он знаком дольше. Просто для него литература то же, что для нее математика, и то, что другим может казаться ерундой, им двоим понятно с полуслова.

Они уже входили в стеклянные двери кафе «Централь», когда Штефан наконец заговорил. Он успокоился, в глазах уже не стояли слезы, которые она видела в капелле. Наверное, ему было бы неловко показаться в таком виде компании, которая сейчас поджидала их внутри.

– Представляешь, Зофи, если бы я мог так писать, – сказал он.

В дальнем углу кафе, между витриной с пирожными и стойкой для газет, уже сидели их друзья, сдвинув два столика вместе.

– Но ведь ты пишешь пьесы, а не музыку, – возразила Зофи.

Он легко толкнул ее в плечо – привычка, которая появилась у него совсем недавно. Зофи знала, что это шутка, но ей нравились его прикосновения.

– Это же надо – быть такой непереносимо умной, точной в деталях и при этом упускать самое главное, – сказал он. – Я не о музыке, глупышка. Я о пьесах – вот бы писать так, чтобы трогать людей за душу не меньше, чем эта музыка.

– Но...

Но ведь ты можешь, Штефан.

Зофи не знала, почему она не произнесла это вслух, как не знала, почему не взяла Штефана за руку в часовне. Может быть, там, сразу после музыки, она смогла бы произнести эти слова, ведь рассказала же она ему про свою подвеску. А может, и не смогла бы. Ей внушала трепет сама мысль о том, что тот, кого она знает, когда-нибудь сам сумеет создать волшебство, если, конечно, продолжит нанизывать слова, складывать их в истории и помогать людям видеть через них правду. Она трепетала, думая, что когда-нибудь его пьесы пойдут, возможно, в Бургтеатре и публика будет смеяться и плакать, слушая сочиненное им, а потом аплодировать стоя, как аплодируют только лучшим спектаклям, тем, которые словно извлекают тебя из одного мира и переносят в другой – увы, несуществующий. Точнее, существующий, но лишь в воображении зрителей, и то лишь на время, пока в зале не загорится свет. Таков парадокс театра: он есть и его в то же время нет.

Штефан хотел попросить Дитера пересесть на другой стул, чтобы самому сесть рядом с Зофи. Ему казалось, что чем ближе к ней он будет, тем дольше сохранится в нем волшебство, навеянное пением хора, и надежда, которая возникла у него, пока они вместе слушали музыку. Если бы она не пошла с ним сюда на чтение его пьесы, он прямиком из капеллы отправился бы в

кафе «Ландтманн», а лучше – в «Гринштайдль», где его точно никто не стал бы отвлекать. Там он открыл бы свой дневник и по самые локти зарылся в слова, шлифуя одну из своих старых пьес, а то взялся бы и за новую. Но Дитер уже вскочил, чтобы придержать для Зофи стул, к тому же это ради его, Штефана, пьесы они собрались здесь. Надо, чтобы все хорошо его слышали, а тут за столиком слева компания оживленно обсуждает статью в «Нойе фрайе прессе» – газете, в которую иногда заглядывает тетя Лизль, – справа спорят о чем-то шахматисты, да и вообще все кафе гудит, решая, вступит ли Австрия в войну с Германией, и если да, то когда. Вот почему Штефан сел на свое обычное место и заказал кофе со взбитыми сливками и яблочный штрудель для себя, а потом, понизив голос, попросил официанта принести рогалик и чашку горячего венского шоколада для Зофи. Она сказала, что не голодна, но для нее кафе – роскошь, а вот для Штефана и его друзей – привычное дело.

Неверный пароль

Трамваи были пусты, как и железнодорожные пути под мостом на вокзале Гамбурга, как и сам вокзал в этот ранний час. На улице Труус и Кларе повстречался лишь один прохожий – молодой сержант, который обернулся и долго смотрел вслед Кларе. Труус понимала: нехорошо, что Клара всегда и везде привлекает к себе внимание, что она такая заметная. Однако и самые большие трудности можно обратить себе на пользу, если подумать. А их ждали тридцать сирот – с таким количеством детей Труус вряд ли управилась бы в одиночку.

– У тебя все прекрасно получится, поверь, – убеждала она Клару, проходя с ней под огромной гипсовой свастикой, прилепившейся к фасаду вокзала, и без того уродливому.

Что это на ней сверху, стекло? Но свастика так закоптилась, что и не разберешь.

По грязным ступеням женщины спустились на такую же грязную платформу, подошли к скамье, обмахнули ее носовыми платками и сели, поставив рядом дорожные сумки, – ставить их в грязь под ногами не хотелось.

– А сейчас сделай вот что, – начала Труус, – видишь солдата, который будет наблюдать за посадкой? Подойди к нему, покажи билет и спроси его по-голландски, не ошиблась ли ты вагоном. Постарайся изобразить смущение тем, что едешь не первым классом. Но не переигрывай. Не то он разжалобится и переведет тебя в другой вагон, а я останусь одна с тридцатью ребятишками. Если окажется, что он не знает голландского, сделай вид, что плохо говоришь по-немецки, но так, чтобы он почувствовал – ты с ним флиртуешь. Понимаешь?

Клара взглянула на нее с сомнением:

– Разве у нас нет документов на детей?

– Есть, но будет лучше, если нам не станут задавать вопросов.

Визы на въезд в Голландию были настоящие, господин Тенкинк постарался. Но вот насчет выездных германских виз Труус не была уверена. Просто предпочитала думать, что и они тоже неподдельные.

– Как я уже говорила, у тебя все отлично получится, – заверила Клару Труус, – просто для первого раза будет легче, если все пройдет на родном языке.

Впрочем, другого раза не будет. Тенкинку удалось выхлопотать эти визы, но принятый недавно закон закрыл границу для иностранцев, так что поездкам в Германию пришел конец. Наверное, Йооп прав: самое большее, что она может теперь сделать, – это взять кого-то из детей к себе, чтобы у них был настоящий дом.

– Страх плохо влияет даже на лучшие умы, – сказала она Кларе.

Вскоре к ним подошел служащий вокзала. Приблизившись, он встал прямо перед ними: немолодой мужчина с пугающе некрасивым лицом – круглым, белесым и комковатым, как тесто. По тому, как застыла Клара, было видно, насколько ей страшно: природный инстинкт подсказывал ей, что надо слиться с фоном и быть незаметной. Нормальная реакция: в Германии все теперь трясется от страха.

– Вы ожидаете контейнеры? – спросил служащий.

– Да, мы ждем доставки, – негромко ответила Труус.

– Поезд задерживается ориентировочно на час, – сказал служащий.

Труус поблагодарила его за предупреждение и обещала ждать.

Когда тот отошел, Клара наклонилась к ней и с едва заметной улыбкой шепнула:

– Господин Снеговик.

Труус моргнула, отгоняя воспоминания: родительский дом в Дуйвендрехте, лицо матери в окне, стекло, по которому сползает снежок, брошенный рукой мальчика-беженца, мать смеется и дети смеются, стоя возле снеговика, слепленного ими с Труус. Господин Снеговик. Служащий действительно чем-то напоминал снеговика, так что прозвище было дано метко. И

еще она узнала о Кларе ван Ланге вот что: увидев человека в форме, Клара испугалась, но не настолько, чтобы не попытаться разрядить ситуацию шуткой.

– Может, попробуешь снять мандраж разговором со служащим, когда тот придет во второй раз, а, Клара? – спросила Труус. – Он спросит, ожидаем ли мы контейнеры, а ты скажешь: «Да, мы ждем доставки».

– Да, мы ждем доставки, – повторила Клара.

Немного погодя появился агент. Труус подождала, пока он не подойдет поближе, чтобы разглядеть его лицо, полускрытое кепи. Нет, это не господин Снеговик, другой.

– Вы ожидаете контейнеры? – спросил он.

Труус, бессознательно нащупав сквозь перчатку рубин у себя на пальце, кивнула Кларе.

– Да, контейнеры, – ответила та.

– Да, мы ждем доставки, – поправила ее Труус.

Глаза подошедшего тревожно забегали, но язык тела остался прежним. Если кто-то и наблюдал за ними со стороны, то ничего не заметил.

– Да, мы ждем доставки, – повторила Труус.

Ей очень захотелось прочесть про себя коротенькую молитву, но даже на это отвлекаться было нельзя.

Колокола Гамбурга начали звонить в шесть вечера.

– К сожалению, из-за хаоса в Австрии доставки сегодня не будет, – наконец произнес агент, и его голос смешался с колокольным звоном.

– Не будет. Понимаю, – произнесла Труус.

Что это: он отменяет выезд из-за ошибки Клары или говорит правду?

Труус терпеливо ждала. Мужчина тем временем перевел взгляд на Клару. Та мило ему улыбнулась. Его лицо немного просветлело.

– Что ж, тогда мы придем завтра, – сказала Труус и, стараясь, чтобы ее слова не прозвучали как вопрос – все-таки не хотелось нарваться на прямое «нет», – добавила лишь крохотное повышение интонации в конце, признание того, что он имеет полное право на неуверенность, услышав неверный пароль. – Моя подруга в Гамбурге впервые. Сегодня я покажу ей город, а завтра мы вернемся опять.

Женщины уже приближались к ступеням, ведущим с вокзала, когда кто-то догнал их и со словами:

– Позвольте, я вам помогу, – взял у Клары сумку; они вздрогнули, сумка Труус оказалась у незнакомца в другой руке, а сам он зашептал: – Человек справа от лестницы, наверху, шел за вами от самой гостиницы. Сейчас, как только выйдете из вокзала, поверните налево и обойдите квартал кругом.

На верхней ступеньке он вернул им сумки, а сам ушел направо. Труус проследила за ним: он миновал мужчину, чье лицо было ей смутно знакомо. Кажется, это он вчера подходил к ней в гостинице, просил провезти в Голландию золотые монеты. Но Труус знала этот гестаповский прием и на удочку не клюнула. Вот и теперь она внимательно проверила карманы, прежде чем двинуться дальше: вспомнила доктора Брискера с его «талисманом». Он тоже делал вид, будто хотел ей помочь.

Между строк

Штефан накрыл пледом маму, лежавшую в шезлонге у камина, а тетя Лизль, которая была у них с раннего утра, но без дяди Михаэля, снова прибавила звук радиоприемника. Шторы в библиотеке были задернуты, и книжные корешки сумеречно мерцали на полках, уходящих под самый потолок третьего этажа. Ряды книг на самом верху разделял рельс, по которому можно было двигать лестницы с бронзовыми перилами. Штефан любил лазать по лестнице, когда еще не умел читать. Наверное, это из-за штор в библиотеке так тревожно, как будто есть нечто преступное в том, чтобы слушать радио ярким зимним утром, когда вся Вена купается в солнце.

Он снова взялся за «Случай на Женевском озере» Стефана Цвейга – историю о русском солдате, найденном голым на плоту посреди озера одним итальянским рыбаком. Папа говорил, что это рассказ о том, как люди теряют человечность, когда к власти приходят типы вроде Гитлера. Но радио не давало сосредоточиться: в новостях сообщали, что, хотя плебисцит под названием «Независимая христианская Австрия» пройдет только днями позже, Гитлер уже назвал его мошенничеством, которое Германия откажется признать. *Lügenpresse* – так Гитлер назвал все австрийские газеты, которые осмелились написать что-то иное. Лживая пресса.

– Как будто этот маньяк говорит правду, – сказал папа, глядя на радио, когда в комнату вошла Хельга с завтраком и, зацепившись ногой за колесо пустого маминого кресла, едва удержала в руках серебряный поднос. – Как этому Гитлеру удалось убедить всю Германию в том, что ложь – это правда, а правда – ложь?

– Поставить завтрак на стол? – неуверенно спросила у него Хельга.

– Петер, – шепнул своему кролику Вальтер, – придется нам завтракать в библиотеке!

Это удручало даже сильнее, чем опущенные шторы. Маме, когда у нее случались особенно тяжелые дни, еду всегда приносили в спальню, но чтобы все ели наверху? Да и что ели-то: черный хлеб, джем и яйца вкрутую – ни сосисок, ни гусиной печенки, ни даже рогаликов или булочек, не говоря уже о нормальной утренней сдобе.

Штефан взял ломтик хлеба и густо намазал его маслом и джемом, чтобы перебить кислый ржаной вкус. Он съел сколько смог, чтобы мама не расстраивалась, и сказал:

– Ну, я, пожалуй, пойду с машинкой...

– Пиши здесь, в библиотеке, – сказал папа.

– Но на столе завтрак...

– Раздвинь стол в нише.

Он и в нормальное время мог писать только в одиночестве, а тут, после завтрака в библиотеке, под речитатив проклинающего их страну Гитлера – куда уж там! Геббельс в Германии клянется, что в Австрии начался мятеж и что австрийцы умоляют власти Германии вмешаться и навести порядок. Но здесь, в центре Вены, на улице, куда выходят окна с задернутыми шторами, тишина и спокойствие. Наверное, это очень тихий мятеж, подумалось Штефану. Зофия Хелена сейчас наверняка придумала бы ему какое-нибудь парадоксальное название.

Вечером они договорились встретиться у Бургтеатра. Она приготовила ему сюрприз. К тому времени его уже, наверное, выпустят из дому. Даже папа говорит, что никакого мятежа в Вене нет, все это очередная ложь, которую Гитлер выдумал, чтобы оправдать отправку своих солдат туда, куда их не звали.

Завтрак давно закончился, подошло время обеда, и в библиотеке появился новый поднос. Все, кроме Вальтера, собрались у радио, словно их присутствие могло остановить волны плохих новостей, льющихся из приемника. Малыш, в отличие от Штефана, не стеснялся открыто выражать свою скуку: он подошел к большому глобусу и стал его крутить, с каждым толчком все быстрее и быстрее. Никто не делал ему замечания.

Штефан раздвинул стол в нише и поставил на него машинку. Заправил в каретку чистый лист и стал представлять себе сцену вроде той, что отражалась сейчас в зеркале над столом: огромная библиотека, в камине гудит огонь, ряды книг до самого потолка, тускло поблескивают лестницы и перила. Все так, как здесь, только шторы раздвинуты. На верх одной из лестниц он посадил девушку: на носу очки с грязными стеклами, ищет книгу о Шерлоке Холмсе. Штефан стал печатать заголовок: «Парадокс»...

– Не сейчас, милый, – перебила его мама. – Нам не слышно.

Он продолжал печатать «...лжеца», надеясь, что выговор предназначен Вальтеру за глобус.

– Штефан... – сказал папа. – И ты тоже, Вальтер.

Штефан с неохотой отодвинул машинку, взял с полки детскую книжку и посадил Вальтера себе на колени. И начал вполголоса читать ему «Невероятные приключения профессора Бранестомы» – забавные похождения рассеянного ученого, который изобретает устройства для ловли взломщиков и блиноделательную машину. Но Вальтер не слушал и ерзал, да и сам Штефан скоро устал читать на английском. Тетя Лизль именно для того и привезла эту книгу из своей последней поездки в Лондон, чтобы и он, и Вальтер больше занимались английским языком, как хотел папа.

– Может, я пойду с Вальтером в парк? – предложил Штефан, но папа только шикнул на них.

Штефан взглянул на часы, когда Хельга внесла в библиотеку легкий ужин. Надо было позвонить Зофии Хелене, сказать, что он не сможет встретиться с ней сегодня, однако у него еще оставалось немного времени. Торопливо проглотив пару кусков – под новость о том, что Гитлер требует от канцлера Шушнига передать власть нацистам, грозя в противном случае применить силу, – он вернулся к пишущей машинке. Пока они едят, можно немного написать. Изменить действие: девушка в заляпанных очках теперь берет со стола тарелку и уходит с ней к камину, как тетя Лизль; отец сначала накладывает еду на тарелку матери и лишь потом себе. Да и шторы лучше все-таки задернуть.

Тук, тук, тук. Он тихонько набрал имя автора – Штефан Нойман, – но предательский звонок возвращающейся назад каретки вплелся в голоса из радио.

– Штефан... – сказала мама.

– Да пусть он идет с этой чертовой штукой в другую комнату, Рахель! – воскликнул отец, немало изумив Штефана, который никогда в жизни не слышал, чтобы отец повышал голос на мать.

– Герман! – ахнула тетя Лизль.

– По-моему, именно ты, Герман, настоял на том, чтобы мальчики оставались с нами в библиотеке, – мягко ответила мама.

Когда у отца появился второй подбородок? И морщинки у глаз и у рта, и глубокие борозды на лбу? Мама болела с тех пор, как Штефан себя помнил, но признаки старости у отца – это было ново и тревожно.

– Штефан, можешь пойти в мой кабинет, – сказал папа. – Но смотри из дома не выходи. Пожалей мать, ей хватит других волнений на сегодня. И возьми Вальтера с собой.

– Мы с Петером хотим остаться с мамочкой, – заскулил малыш.

– Черт! – ругнулся отец, чем еще раз потряс сына.

Папа был истинным джентльменом, а джентльмены так не выражаются.

Вальтер вскарабкался на шезлонг и прижался к маме.

– Иди, Штефан, – повторил отец. – Иди.

Штефан подхватил тяжелую пишущую машинку и проскользнул с ней мимо материнского кресла на колесах, пока отец не передумал. В кабинете, который был рядом с библиоте-

кой, он поставил машинку на стол и принялся за работу, но, вытаскивая из каретки первую страницу, сообразил, что не взял чистую бумагу. С минуту он сидел, глядя через французское окно на улицу: вид был такой же, как из его спальни этажом выше – сквозь кроны деревьев. Вставив в каретку тот же лист, он стал печатать на обороте. Идти за бумагой в библиотеку не хотелось: вдруг больше не выпустят?

Добравшись до конца страницы, он перевернул ее снова и стал осторожно вбивать текст между строк, прислушиваясь в то же время к голосам в библиотеке. Да, похоже, тетя Лизль и его родители обсуждают что-то серьезное.

Штефан тихо открыл окно, выскользнул на балкон, беззвучно притворил за собой стеклянную створку и перелез через балюстраду на ветку дерева. Но полез не на крышу, как делал, когда ему хотелось полюбоваться на Вену при свете луны, – нет, он соскользнул на самый нижний сук и спрыгнул с него на землю, оказавшись между привратницей и входной дверью. И замер. Где же Рольф? Почему сегодня никто не смотрит за входом? Хотя это уже не важно. Все равно в гости сегодня никто не придет.

Но у привратницы он все же задержался и заглянул в окно – так, на всякий случай. В домике было темно, и Рольфа он не увидел. На улице тоже было странно тихо. Собственная тень, которая бежала впереди него, словно гонимая золотистыми огнями чугунных фонарей, почему-то тревожила Штефана.

Теория хаоса

Штефан с волнением следил за тем, как Зофия Хелена открывает боковую дверь Бургтеатра ключом, который стащила из кармана пальто своего деда.

– Зря мы сюда пришли, – сказал Дитер.

– Штефану надо видеть, как его пьеса будет смотреться на настоящей сцене, – заявила Зофия Хелена, первой входя сначала в коридор, а оттуда и в сам театр. – Как и его герою, Стефану Цвейгу.

– Нам здорово влетит, если нас поймают, – возразил Дитер.

– А я думала, Дитер, тебе нравятся приключения, – ответила Зофия Хелена.

Бросив пальто и шарф на кресло заднего ряда, девушка, не сказав ни слова, скрылась в фойе.

Штефан шепнул другу:

– А я думал, Дитер, тебе нравятся приключения.

– Только с девчонками.

– Да не было у тебя никаких приключений с девчонками, Дитерони.

– Ты так думаешь? Если хочешь поцеловать девчонку, то просто берешь и делаешь это, а у тебя, Штефан, нос не дорос.

Над сценой загорелись огни, напугав Штефана. Он шепотом возразил:

– Нельзя же просто так взять и поцеловать кого-то.

– Девчонки сами этого хотят. Им нравятся решительные мужчины. Все, чего им нужно от нас, – это чтобы их целовали и делали им комплименты.

На сцене появилась Зофия Хелена. Как она туда попала?

– «Теперь весь вопрос в гемоглобине, – процитировала она первую строчку из его новой пьесы. – Вы ведь понимаете всю важность моего открытия, так ведь?» – Но Штефан и Дитер продолжали стоять в проходе перед сценой, глядя на нее снизу вверх, и она сказала: – Ну же, Дит. Ты слова выучил?

Дитер, помешкав, сбросил пальто и полез на сцену.

– «Открытие интересное, вне всяких сомнений, но...» – начал он.

– «Открытие интересное с химической точки зрения, вне всяких сомнений», Дит, – поправил его Штефан. – Неужели нельзя запомнить такую простую строчку?

Он нервничал, и его нервозность выплескивалась на Дитера, хотя с тем же успехом он мог сорваться и на Зофи. Но разве он мог сердиться на ту, которая преподнесла ему такой роскошный подарок: репетиция его пьесы на сцене Бургтеатра?

– Какая разница, – возразил Дитер, – это одно и то же.

– Это посвящение Шерлоку Холмсу, Дит, – объяснила Зофия Хелена. – Оно не сработает, если хотя бы немного изменить слова.

Штефан прошел по проходу вперед, думая, что надо бы сесть где-нибудь ближе к сцене. Кажется, так поступают режиссеры?

– Шерлок Холмс – мужчина, – возразил Дитер. – Как девчонка-сыщик может быть посвящением мужчине, вот чего я не пойму.

– Сделать детективом женщину неожиданно, а потому интересно, – сказала Зофия Хелена. – И вообще, я прочла все рассказы о Шерлоке Холмсе, а ты – ни одного.

Дитер протянул руку и тронул ее за щеку:

– Это потому, что ты ужасно умная мышка, куда умнее, чем Штефан или я, да и красивее тоже, – добавил он, назвав Зофию Хелену прозвищем, которое Штефан придумал ее героине для первого акта.

Он ожидал, что Зофия Хелена посмеется над Дитером, но девушка вспыхнула, взглянула на Штефана и тут же опустила глаза. Зря он дал Дитеру роль Зелига в пару к ее Зельде, но, с другой стороны, кому, кроме Дитера с его апломбом, его и играть? Штефан пытался объединить в одной пьесе тип Шерлока Холмса в юбке, Зельду, с мужским персонажем, похожим на доктора из новеллы Цвейга «Амок», – юноша любит девушку, но она им совсем не интересуется. Правда, он не до конца понял эту новеллу, а когда спросил отца, почему та женщина решила, что именно доктор может помочь ей с ребенком, которого она не хотела, тот сначала закашлялся, а потом ответил:

– У тебя есть характер, Штефан. Уверен, ты никогда не окажешься в положении человека, у которого есть ребенок, которого не должно быть.

Дитер потрепал Зофи по подбородку и поцеловал прямо в губы. Девушка сначала приняла его поцелуй напряженно, а потом ее рот как будто влился в рот Дитера.

Штефан повернулся к ним спиной, притворяясь, будто ищет место, чтобы сесть, а сам буркнул:

– Это детектив, а не любовная история, болван.

Выбрав место, он сел и посмотрел на сцену. Слава богу, эти двое уже перестали целоваться, хотя щеки Зофи еще горели от возбуждения.

– Зоф, – сказала он, – начни с той строчки, где ты говоришь, какой Дитер болван.

– В смысле, какой Зелиг болван? – переспросила Зофи.

– Разве я не то же самое сказал? Если вы будете все время переспрашивать, мы так никогда до конца не доберемся.

Они прорепетировали две сцены, а когда все часы в Вене начали бить семь, Зофи услышала шум. Что это, гудят автомобили? Или кричат люди, много людей? Похоже было на то и другое разом: вопли толпы вперемешку с гудками автомобильных клаксонов пробивались сквозь стены театра. Она посмотрела со сцены в зал, на Штефана. Да, он тоже слышит.

Схватив пальто, все трое выбежали из зала и бросились к главному выходу. Гвалт между тем нарастал. Когда они, отперев парадную дверь, распахнули ее на улицу, то едва не оглохли от рева толпы. Повсюду, куда ни глянь, были коричневорубашечники с оружием, мужчины в повязках со свастикой на рукавах, по Рингштрассе мимо здания университета, мимо ратуши и Бургтеатра неслись грузовики со свастикой на бортах, на них гроздьями висели молодые парни. Но это был не мятеж. Люди ликовали. Со всех сторон неслись крики: «Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!»⁶ и «Heil Hitler, Sieg Heil!». И еще: «Juden verrecken!» Смерть евреям!

Стоя в театральном фойе, в спасительную тень которого они шмыгнули все трое, Зофи с тревогой высматривала в толпе маму. Так вот почему дедушка пришел сегодня к ним, чтобы побыть с Йойо, когда мама уходила, но что все это значит? Откуда все это взялось? Свастика на бортах грузовиков. Свастика на фонарных столбах. Повязки на рукавах. Толпы. Не могли же они взяться из ниоткуда. Ноль сколько угодно можно складывать с нолем, но ничего, кроме ноля, не получишь.

Дальше по улице мальчишки рисовали на витрине свастику, череп с костями и писали: «Евреи».

– Смотри, Штефан, – сказал Дитер, – это же Гельмут и Франк из нашей школы! Пошли!

– Дит, надо проводить Зофию Хелену домой, – ответил Штефан.

Дитер с надеждой поглядел на Зофи, его глаза блеснули лихорадочно, как у Йойо, когда у той поднялась высокая температура: она никого не узнавала и звала сестру папой, хотя знала отца только по рассказам родных да по фотокарточкам – он умер еще до ее рождения.

– Я отведу ее домой, Дит. А потом догоню тебя.

⁶ «Один народ, один Рейх, один вождь!» (нем.)

Он и Зофи отошли еще дальше в тень, а Дитер уже мчался по ступенькам вниз, туда, где толпа нацистов окружала старика, выбежавшего на защиту своей витрины. Один коричневорубашечник выкрикнул что-то издевательское, другие тут же начали ему вторить. Кто-то, размахнувшись, ударил старика кулаком в живот, старик согнулся.

– Господи! – воскликнул Штефан. – Надо ему помочь.

Но толпа коричневых рубашек уже сомкнулась над стариком.

Зофи поспешно отвела взгляд в сторону и увидела человека, который поднимал нацистский флаг над зданием парламента Австрии. Его никто не останавливал: ни полиция, ни военные, ни добрый народ Вены. Кстати, куда он подевался, этот добрый народ? Или это он и есть: мужчины, вопящие «Хайль Гитлер!», мальчишки, которые в иное время толпились бы у рождественских витрин, разглядывая модели поездов?

– По улице мы до дома не дойдем, – сказала Зофи.

В городе царил хаос. Стихия, над которой не властна даже математика.

Ножницами, которые Зофи, не включая света, нашла в парикмахерской деда, она взломала решетку вентиляции у зеркала. Вместе они скользнули в тот самый воздуховод, по которому лазили еще в день их первой встречи, и поползли по нему в подземелье. Вход в него Зофи обнаружила уже позже, но никогда не спускалась туда в одиночку, боясь заблудиться.

– А-ах! – выдохнула она, соскальзывая в пещерную тьму, которая оказалась глубже, чем она себе представляла.

Где-то рядом с ней приземлился Штефан, и она, протянув в темноте руку, даже вздрогнула от радости, коснувшись пальцами его рукава. Его ладонь тут же сомкнулась с ее ладонью, отчего ей стало уютно, но не только.

– Куда теперь? – спросила она.

– А ты не знаешь?

– Я всего раз была в подземелье, с тобой.

– А я никогда не был в этой его части, – отозвался Штефан. – Ну что ж, без лестницы назад мы все равно не выберемся, значит придется идти вперед.

И они пошли, ощупью находя путь в темноте, наполненной звуками капающей воды и шорохами чьего-то присутствия. Зофи старалась не думать о разбойниках и убийцах, которые, по словам Штефана, давно облюбовали подземелья Вены. Да и какая теперь разница? Наверху разбойники и убийцы хозяйничали всюю.

Рев толпы остался позади, но перекличка клаксонов и отдельные выкрики «Хайль Гитлер!» были слышны, когда Штефан и Зофи выбирались на поверхность через восьмиугольный люк недалеко от ее дома. Прежде чем вылезти, Штефан слегка приподнял один металлический треугольник и выглянул наружу – убедиться, что в этом глухом закоулке города все спокойно.

Оказавшись у двери, Зофи вставила в замок ключ.

– Будь осторожен по пути домой, ладно? – попросила она, чмокнула Штефана в щеку и исчезла, оставив переживать контрастное прикосновение ее холодных очков, теплое – кожи и мягкое и влажное – губ.

Сопляка Дитера она целовала в губы.

Хотя нет, это же он ее целовал.

В окне верхнего этажа на шторах тень мужчины раскинула руки навстречу бросившейся к нему тонкой девичьей тени – Зофия Хелена вернулась домой, к отцу. Только это не отец, он же умер. Приглядевшись, Штефан узнал в приземистом округлом силуэте фигуру Отто Пергера. Две тени радостно прильнули друг к другу, полные любви. Штефан знал, что ему следует отвернуться. И вообще, пора возвращаться в люк, а оттуда – домой. Но он не мог оторваться от окна, за которым две тени отпрянули друг от друга и заговорили, а потом тень

Зофии Хелены поднялась на цыпочки и чмокнула деда в щеку. Значит, теперь ее очки ткнулись в щеку деда, ее гладкая щечка скользнула по его немолодой щеке.

Тень девушки исчезла с экрана окна, но тут же возникла снова, теперь с какой-то вещью в руках. Приглушенные звуки Первой виолончельной сюиты Баха слились в одно с далекими гудками, криками и неведомым будущим той Вены, какой она станет уже завтра. А Штефан все смотрел и думал: как это было бы прекрасно, если бы он мог прижать Зофию Хелену к себе, ощутить хрупкость ее тела, прикосновение маленьких грудей, дотронуться губами до ее губ, шеи, той ямки под горлом, где на обнаженной коже лежала подвеска – знак бесконечности, который отец ей, оказывается, не дарил.

Пустая бальная книжка

В сияющий лакированным дубом бар гостиницы в Гамбурге ворвались изрядно подвыпившие эсэсовцы. Труус протянула через стол руку и положила ее на ладонь Клары. Пальцы бедной молодой женщины дрожали. Шницель нетронутым лежал на тарелке.

– Вам страшно, я знаю. – Труус говорила тихо, чтобы ее не слышал никто, кроме Клары. – Но немцы пропускают только тот поезд, который уходит в пять утра, чтобы никто не видел, как уезжают дети, а сегодня он уйти не мог.

– И это из-за того, что я сказала «контейнеры» вместо «доставки».

– В таком деле, как наше, не всегда все работает как часы, – мягко ответила Труус.

– Просто дело в том, что... господин ван Ланге так за меня переживает. К тому же мы ведь не можем сидеть здесь вечно, особенно если... Как вы думаете, это правда? Кажется, эти люди считают, что сегодня ночью Гитлер вторгнется в Австрию или уже сделал это.

Труус подцепила вилкой кусочек шницеля и отправила его в рот. Вторжение в Австрию вполне объясняло сегодняшнее отсутствие поезда. Наверняка все составы заняты: перевозят войска.

– Это не наша забота, – сказала она. – Наша забота – тридцать немецких сирот.

Пару минут они ели молча, как вдруг к их столику подошел эсэсовец, щелкнул каблуками и поклонился так низко, что чуть не уткнулся лбом в тарелку Труус.

– Я Курд Йиргенс, – произнес он заплетающимся языком.

В баре зазвучала песня «Ah, Miss Klara, I Saw You Dancing». «Ах, мисс Клара, я видел, как вы танцевали» – плохой знак.

Труус оглядела эсэсовца с головы до пят. Называть свои имена она не спешила.

– Мамаша, – адресуясь к ней, сказал он, – позвольте пригласить вашу дочку на танец?

Труус снова смирila его взглядом и ответила вежливо, но твердо:

– Нет, нельзя.

В помещении стихло все, кроме музыки. Посетители повернулись к ним и ждали, что будет дальше.

Хозяин гостиницы подбежал к их столу, забрал у госпожи ван Ланге тарелку, хотя та еще не доела, и поспешно предложил:

– Может быть, дамы не откажутся пройти со мной к себе в номер?

Аншлюс

Когда Штефан выбрался наверх через будку, штурмовики-наци уже разогнали охранников канцелярии и заняли их места, а толпы на улицах стали еще более громогласными. Стараясь держаться в тени домов, он добрался до королевского дворца, нырнул в арку и оказался на Михаэлерплац, где поперек фасада Лоосхауса красовался транспарант: «Одна кровь – один Рейх!» Оттуда Штефан повернул в сторону дома. Шторы были по-прежнему задернуты, окна темны, а Рольф отсутствовал.

Проскользнув в особняк, он тихо притворил за собой входную дверь и крадучись пошел наверх, надеясь, что его отсутствия никто не заметил и ему удастся сделать вид, будто все это время он был в кабинете отца. У закрытых дверей библиотеки он остановился и прислушался: папа и мама спорили под бормотание радиоприемника, Вальтер спал у мамы на руках, длинноухий кролик лежал на полу.

– Бери Вальтера и отправляйся с ним на вокзал, – уговаривала мама. – Лизль наверняка уже взяла билеты. Штефана я пришлю позже.

– Вы обе делаете из мухи слона, и ты, и Лизль, – отвечал отец. – Кого, интересно знать, боится моя сестра, кто ее тронет? Ее муж – представитель одного из наиболее видных семейств Вены. А если уеду я, кто будет заниматься делами фабрики? К восходу солнца президент Миклас восстановит порядок, к тому же я не хочу оставлять тебя одну в доме, Ра...

Хлопнула входная дверь. В дом ворвалась Лизль. Она пронеслась по лестнице и вихрем влетела в библиотеку, даже не заметив Штефана. Мама убеждала отца, что за ней присмотрит Хельга и что она придет к ним, как только ей станет лучше.

– Не говори глупостей, Рахель! – перебила ее Лизль, когда Штефан, забыв о распахнутой входной двери и шуме, который врывался с улицы, попытался проскользнуть за теткой в библиотеку.

– Штефан! Слава Богу! – воскликнула мама, а отец приступил к нему с расспросами о том, где он был.

Тетя Лизль выпалила:

– Пражский поезд в двадцать три пятнадцать был забит уже к девяти часам вечера – все билеты распродали раньше, чем я добралась до вокзала. Других поездов на сегодня нет. К тому же едва посадка закончилась, как эти бандиты начали сгонять с мест всех евреев, даже с билетами.

Напольные часы ударили один раз – то ли час после полуночи, то ли половина первого. Радио продолжало бормотать – передавали повтор вечернего обращения канцлера Шушнига к народу Австрии, в котором он говорил, что германский Рейх в ультимативной форме потребовал от правительства страны признать канцлера, которого назначат немцы, в противном случае немецкие войска перейдут границу.

– Не желая даже в этот страшный час проливать кровь германского народа, мы приказали нашим войскам в случае вторжения не оказывать сопротивления и, сохраняя спокойствие, ожидать решений, которые будут приняты в ближайшие несколько часов, – говорил канцлер. – Я оставляю свой пост и, прощаясь с австрийским народом, от всего сердца говорю: да хранит Бог Австрию!

Значит, канцлер ушел со своего поста, передав власть нацистам? И Австрия даже не думает защищаться?

Вдруг все вздрогнули, услышав громкие голоса внизу. Штефан помог отцу перенести маму в кресло на колесах – Вальтер продолжал спать у нее на руках, – и папа повез ее к выходу из библиотеки. Он рассудил, что на верхних этажах будет безопаснее.

Но особняк уже заполняли мальчишки и молодые мужчины, и эхо их возбужденных голосов звенело по всему первому этажу.

Отец спешно повернул назад, в библиотеку, и запер за собой дверь.

Внизу что-то глухо грохнуло, затрещало, жалобно зазвенело: незваные гости били посуду, но не по одной штучке, а сразу всю. Видимо, опрокинули стол, на который Хельга выставила фарфор и серебро в надежде, что семья еще поужинает, как положено. Последовал грубый хохот. Кто-то заиграл на пианино. Как ни странно, хорошо. Бетховен. «Лунная соната». Наци, видимо, разбрелись по комнате и теперь перекликались, обсуждая сигаретницу, канделябр, статуи, замершие вдоль стен бального зала. Вдруг снизу раздалось дружное «Раз-два, взяли!», и тут же что-то тяжелое ударилось в пол – не иначе мраморная статуя. Радостно загоготав, налетчики затопали по лестнице вверх, к спальням, где, как догадался Штефан, они надеялись застать семью.

Теперь гремело и звенело у Нойманов над головами, и снова раздался гогот. В спальне на туалетном столике папа обычно держал зажим для денег. И мамины драгоценности, наверное, тоже там. Было непонятно, что делали налетчики: грабили или просто наслаждались безнаказанностью, ворвавшись в роскошный дом, вход в который раньше всегда был им заказан из-за привратника. Да где же Рольф?

Бедная Хельга на половине прислуги, должно быть, перепугалась не на шутку. Неужели хулиганы начнут обижать слуг?

На двери библиотеки задребезжала ручка. Никто не двинулся с места. Ручка загремела снова. Приемник продолжал предательски бормотать.

В музыкальном салоне пианино продолжало играть в до-диез: раньше Штефану всегда казалось, что это звучит лунное серебро на поверхности Люцернского озера. Но теперь эта тональность помрачнела, словно предвещающая беду.

Чей-то голос крикнул через дверь:

– Кто там? Вы что, заперлись?

Штефану на миг показалось, что он слышит Дитера, но он тут же отогнал от себя эту мысль. Нет, не может быть!

Кто-то сильно ударил в дверь плечом, еще раз, раздался смех, возня, новый удар, голоса за дверью сменялись, требуя расступиться, дать дорогу, – всем хотелось попробовать свои силы.

– Статуя, – вдруг сказал один из них. – Отличный таран.

Голоса за дверью вскипели, подошвы зашаркали по паркету, взорвался смех. Статуя была мраморной. Как и та, которую они повалили в бальном зале, она весила не менее пятисот фунтов. Это вычислила Зофи.

Кто-то еще налег плечом на дверь.

– А может, лучше стол? – предложил другой.

Штефан так внимательно вслушивался в голоса, словно от того, расслышит он каждое их слово или нет, зависело, останутся хулиганы или будут бесчинствовать дальше. За дверью жалко брякнула об пол мамина коллекция серебряных безделушек. Радио все бормотало, пианино продолжало играть.

Штефан подошел вплотную к двери, будто хотел стать живым барьером. Мама покачала головой, убеждая его встать подальше, но никто не двинулся с места и не сказал ни слова.

По радио диктор объявил о начале важного сообщения: отречение президента Микласа. Заявление сделал майор Клауснер: «В этот торжественный час позвольте мне объявить, что Австрия стала свободной, Австрия стала национал-социалистической».

На улице радостно взревела толпа.

Откуда-то снизу, от входной двери, раздался пронзительный свист.

Мальчик, с голосом как у Дитера, закричал прямо за дверью:

– Через перила кидай!

Что-то разбилось вдребезги, рухнув на мраморный пол вестибюля, налетчики радостно завопили и затопали по лестнице вниз. Грохнула входная дверь, стены дома приглушили голоса, но радио продолжало бормотать, а «Лунная соната» – звучать. Но вот стихли две последние, глубокие ноты первой части. И тут же кто-то пробежал через вестибюль к выходу. Дверь открылась. Но не закрылась. Ушел он или нет?

Тишина в доме не успела сгуститься: бормотание голосов по радио сменил немецкий военный марш. Штефан открыл дверь и выглянул наружу. Хаос царил повсюду, но того, кто играл на пианино, не было.

Штефан медленно прокрался по лестнице вниз. Задвинул засов на двойной двери, привалился к ней спиной. Сердце стучало так, словно в дверь ломился обезумевший гость.

Весь пол нижнего этажа и каждая ступенька величественной лестницы были усыпаны испорченными, покореженными вещами: обломками мебели и осколками хрусталя, порванными холстами и разбитыми статуями, хрупкими вазочками для цветов и сахарницами, детскими погремушками, чашками для воды, наперстками и пробками для бутылок и еще множеством других мелких предметов, угадать форму или предназначение которых было уже невозможно, так они пострадали от чьих-то ног или рук. И весь этот страшный разгром был, словно конфетти, присыпан клочками фотографий, обрывками писем и вырезок из газет: зрелище, которое особенно поразит маму, так что слезы обязательно навернутся ей на глаза. Только пианино, похоже, не пострадало: тот, кто играл на нем, потрудился даже опустить крышку – то, о чем сам Штефан нередко забывал. Подойдя к инструменту, он едва не наступил на рассыпанные по полу страницы. Взглянув на верхний, затоптанный лист, он увидел заглавие: «Парадокс лжеца».

Часть вторая. Время между

Март 1938 года

После отказа танцевать

Труус смотрела в темное окно в номере крошечной гостинички в Гамбурге, когда Клара ван Ланге, то ли разбуженная голосами на улице, то ли и без того всю ночь не сомкнувшая глаз, спросила, что происходит.

– Те парни из бара стоят на плоской крыше прямо под нашим окном и поют.

– В четыре утра?

– Видимо, это серенада в твою честь, дорогая. – С этими словами Труус опустила занавеску и снова забралась в кровать.

Через несколько минут зазвенел будильник. Женщины тут же поднялись и, не включая свет – за окном ведь стояли мужчины, – сбросили ночные сорочки и стали одеваться. Труус, чувствуя на себе взгляд Клары, наблюдавшей за тем, как она завершает процедуру застегивания корсета – каждый крючок должен попасть в свою петельку, – наклонилась и взяла чулок. Неприятно, когда кто-то разглядывает тебя полуголую. И не важно, откуда направлен этот взгляд – снаружи комнаты или изнутри.

– В чем дело, Клара? – спросила она, держа в руках чулок.

Клара ван Ланге повернулась к окну:

– Как вы думаете, будь у нас свои дети, были бы мы сейчас здесь?

Труус надела чулок на пальцы, натянула на пятку, потом на икру и колено, добралась уже до бедра, когда почувствовала, что тонкий чулок зацепился между двумя сплетенными ободками кольца на ее среднем пальце, но, к счастью, не порвался. Аккуратно пристегнув чулок, Труус услышала, как парни за окном, видимо отчаявшись, прекратили петь и покинули крышу. Значит, сейчас либо она, либо Клара включит свет.

– Дорогая, ты так молода, – тихо сказала Труус. – У тебя еще все впереди.

Выбор

Трамваи застыли на площади перед вокзалом, железнодорожные пути были пусты, как и накануне. Труус и Клара вошли в здание вокзала, снова прошли под уродливой свастикой, спустились по тем же грязным ступенькам на ту же грязную платформу, что и вчера, и обмахнули ту же скамейку чистыми носовыми платками – единственное, что было чистым у Труус в то утро: она не взяла дополнительную смену белья, так как не рассчитывала на вторую ночевку. И снова они поставили рядом с собой сумки и стали ждать. Рассвет еще не наступил.

Подошел господин Снеговик и, не останавливаясь, прошептал:

– Поезд задерживается на тридцать минут, но груз будет доставлен вам еще до прибытия.

Поезд, приближаясь, уже пыхтел и посвистывал, когда две женщины – одна постарше, седая, другая молодая, с ребенком на руках, – появились на тех самых ступеньках, по которым совсем недавно спускались Труус и Клара. С ними шли тридцать детей.

Труус попросила молодую женщину сделать переключку. Пока та называла каждого ребенка по имени, а седая сверяла их со списком, который потом отдала Кларе со всеми документами, Труус прикасалась рукой к каждому ребенку по очереди (прикосновение – важный шаг к установлению доверия) и говорила им, что они могут называть ее тетей Труус.

Когда все тридцать имен прозвучали, молодая женщина вдруг кинула тревожный взгляд на свою спутницу и сказала:

– Адель Вайс.

Сунув Труус ребенка, которого держала на руках, она повернулась и бросилась бежать, а малышка заплакала и стала звать ее:

– Мама! Мама!

– Ее документы? – спросила старшую женщину Клара.

Пока Труус ворковала с малышкой, стараясь ее успокоить, подошел поезд и с шипением остановился.

– Мы не можем взять ребенка без документов, – прошептала Клара.

Труус кивнула на проводника-наци, который только что сошел с подножки вагона на перрон.

– Госпожа ван Ланге, надеюсь, вы помните свою задачу, – сказала Труус. – У меня будет полно хлопот с детьми, пока я буду сажать их в поезд.

Клара, с сомнением взглянув на Труус с малышкой, достала билет и двинулась к проводнику-наци, чей взгляд намертво приклеился к изящным лодыжкам и икрам Клары, которые бесстыдно открывала ее новомодная юбка.

– Entschuldigen Sie, bitte, – заговорила она. – Sprechen Sie Niederländisch?⁷

У проводника был такой вид, будто сама Елена Троянская только что поднялась со скамьи у вокзала и подошла к нему поболтать.

С маленькой Аделью на бедре Труус взяла одного ребенка за руку и зашагала к вагону. Проводник взглянул на нее лишь мельком, его внимание тут же вернулось к Кларе. Труус вошла в вагон, женщина с седыми волосами, стоя на платформе, помогала детям подняться.

– Спасибо вам большое, – сказала она. – Нам пришлось делать выбор...

– Да, и вы выбрали рискнуть жизнью тридцати детей, у которых нет родителей, чтобы спасти жизнь одной девочки, у которой есть любящая мать, – ответила Труус. – Поторопитесь, пожалуйста, поезд скоро отходит.

Передавая Труус последнего ребенка, седая женщина прошептала:

⁷ Извините, пожалуйста... Вы говорите по-голландски? (нем.)

– Вы несправедливы к моей сестре, госпожа Висмюллер. Она рискует жизнью, спасая этих детей, а вы хотите, чтобы она рисковала еще и жизнью дочери.

Когда дети заняли свои места в вагоне и поезд тронулся, Клара ван Ланге расплакалась.

– Не сейчас, милая, – попросила ее Труус. – Впереди еще пограничный досмотр.

Труус подумала, что больше не возьмет Клару с собой, слишком уж та красивая и запоминающаяся. В самих Нидерландах желающих помочь беженцам хватало, но те, кто готов был ради этого пересечь границу, были наперечет.

– Хотелось бы мне сказать тебе: ничего, привыкнешь, – продолжила она, – да беда в том, что сама я так и не смогла. И не знаю, сможет ли кто-нибудь другой. – И она передала бедной Кларе малютку Адель. – На-ка поддержи. С ней тебе сразу полегчает. Не ребенок, а золото.

Другие дети сидели тихо, как мышки. Наверное, еще не оправились от шока.

– Мой отец часто говорил, что смелость – это не когда человек не знает страха, а когда он идет вперед, преодолевая страх, – сказала Труус Кларе.

День уборки

Сквозь щель в задвинутых шторах Штефан разглядывал серое венское утро. Женщина, похожая на узел с тряпьем, продавала флажки со свастикой, другая предлагала большие круглые воздушные шары, тоже со свастикой. Огромные свастики были намалеваны на транспарантах, призывающих к плебисциту, поверх слова «Да». Мужчины с приставными лестницами перебежали от фонаря к фонарю и развешивали на них тот же символ. Другие заклеивали таблички на остановках трамваев плакатами «Один народ, один Рейх, один фюрер». Тот же лозунг красовался и на самих трамваях, рядом с огромными портретами Гитлера. К дверям особняка Нойманов подъехал и остановился грузовик с опущенными бортами, разрисованными свастикой.

– Папа! – крикнул встревоженный Штефан.

Неужели это снова к ним?

Отец как раз давал маме лекарство и не сразу оценил тревогу в голосе сына. Он даже не отвел глаз от жены, завернутой в одеяло и полулежащей в кресле перед камином. Вальтер, как обычно, жался к ней с кроликом Петером в обнимку, он точно знал, что мамы может не быть с ними уже завтра, хотя никто в доме никогда об этом не говорил. Все пятеро – тетя Лизль тоже была здесь – продолжали слушать радио, пока слуги наводили в доме порядок.

Штефан набрался смелости и снова выглянул из-за штор. Водитель уже выскочил из кабины грузовика и теперь сгружал с него охапки нарукавных повязок все с той же свастикой. К нему подходили люди, брали и надевали повязки. Собиралась толпа.

Просто поразительно, как хорошо эти люди сумели все организовать, сколько флагов, сколько банок с краской, повязок и даже шаров – воздушных шаров! – сумели запасти здесь, в Вене, и все для того лишь, чтобы отпраздновать германское вторжение, убеждая мир в том, что речь идет о спонтанном выступлении жителей самой Австрии.

На тротуаре перед их оградой и на проезжей части – там, где Штефан ходил каждый день, – стояли на четвереньках люди и вручную отскабливали с мостовой лозунги плебисцита. Мужчины, женщины, дети, старики, родители, учителя, раввины. За ними надзирали эсэсовцы, гестаповцы, добровольцы из наци и местная полиция. Многие из надзирателей засучили штанины, чтобы те не пропитались водой, которой была обильно полита мостовая, а соседи стояли вокруг, пялились и насмехались.

– Герр Кляйн – столетний старик, который большую часть жизни провел за прилавком своего газетного киоска, где каждому говорил «Доброе утро!», а тем, у кого не было денег на газету, позволял прочесть ее бесплатно, стоя рядом с ним, – прошептал Штефан.

Папа поставил бутылочку с пилюлями и стакан с водой на столик, рядом с маминым завтраком, почти нетронутым.

– Вену готовят к приезду Гитлера, сын. Если бы ты был дома...

– Не надо, Герман, – ворчливо сказала мама. – Не начинай! Сейчас ты скажешь, что это все из-за меня, потому что я нездорова. Будь я здорова, нас бы уже давно не было в этом городе.

– Рахель, но я-то в любом случае не могу уехать, – успокоил ее папа. – И ты знаешь, что никакой твоей вины тут нет. Я не могу бросить фабрику. Я только хотел сказать...

– Я не дура, Герман, – перебила его мама. – Хочешь прикрывать мою вину своим бизнесом – пожалуйста, только не смей сваливать все на Штефана. Фабрику давно следовало продать, а нам всем – уехать, и так бы оно и было, будь я здорова.

Вальтер уткнулся лицом в кролика Петера. Папа опустил на диван рядом с ним и поцеловал сына в лобик, но тот продолжал плакать.

Штефан вернулся к окну, к ужасу, который творился на улице. На его памяти родители никогда не ссорились.

– Все в Вене любят шоколад Ноймана, – говорил папа. – Бандиты, которые ворвались сюда ночью, просто не знали, чей это дом. Смотри, наступило утро, а нас никто не трогает.

По радио Йозеф Геббельс зачитывал воззвание Гитлера:

– «Я, как гражданин и как немец, буду вдвойне счастлив ступить на землю Австрии, моей родины. Пусть весь мир видит, какой искренней радостью исполнены сердца австрийских немцев, приветствующих своих братьев, в час великой нужды пришедших им на помощь».

– Надо отправить мальчиков в школу, – непривычно твердый голос мамы встревожил Штефана, хотя он и понимал: она говорит так для того, чтобы не дать ему повода для тревоги. – Лучше всего в Англию.

Картотека

Огромный вращающийся шкаф с ящиками, полными карточек, надетых на металлические стержни, занимал центральную позицию в кабинете отдела II/112 Службы безопасности Рейха, расположившейся во дворце Гогенцоллернов в Берлине. Повсюду лежали австрийские газеты, книги, годовые отчеты, справочники и списки членских билетов. С ними то и дело сверялись люди, занятые заполнением цветных карточек. Старший адъютант работал с персональными записями Эйхмана, содержащими информацию, полученную от многочисленных осведомителей; второй адъютант, устроившись на банкетке, на которой обычно сидят пианисты, вставлял заполненные и сложенные в алфавитном порядке карточки в ящик. Когда Эйхман и Зверь вошли в кабинет, адъютанты вскочили, приветствуя начальника салютом и возгласом «Хайль Гитлер, унтерштурмфюрер Эйхман». Да, его опять повысили по службе, аж до младшего лейтенанта, и, хотя начальником отделения по-прежнему был другой, на Эйхмана, по крайней мере, возложили полную ответственность за это: сбор информации, необходимой для того, чтобы вынудить евреев к эмиграции. В Рейхе начинала преобладать его точка зрения на то, как решить еврейский вопрос: избавиться от этих крыс полностью.

Взяв наугад несколько газет, он стал вслух читать имена авторов статей и людей, упомянутых в них, адъютанту, который заполнял карточки. Услышав то или иное имя, адъютант пролистывал карточки, находил нужную и читал вслух – в картотеке была собрана информация на всех евреях и их защитников без исключения.

– Кэте Пергер, – прочитал Эйхман имя журналистки из вчерашнего выпуска «Венской независимой», чья статейка – наглая антинацистская чушь! – привлекла его внимание на первой полосе.

Адъютант повернул шкаф, достал нужную карточку и прочел:

– Кэте Пергер. Редактор «Венской независимой». Антинацистка. Не коммунистка. Поддерживает австрийского канцлера Шушнига.

– Бывшего канцлера, – поправил Эйхман. – Надо думать, эта Кэте Пергер вовсе не журналистка, а журналист, разводящий вонь под прикрытием женского имени.

Журналиста-мужчину можно отправить в Дахау, но вот куда девать антинацистски настроенных женщин, они еще не придумали.

– Информация проверенная, – ответил адъютант. – Муж умер. Две дочери, трех и пятнадцати лет. Пятнадцатилетняя – что-то вроде математического гения. И не еврейка.

– Кто – гений?

– Нет, Кэте Пергер. Она из Чехословакии, родители – христиане. Крестьяне. Отец умер, мать до сих пор жива.

Народ. Кровь Рейха.

– Муж, который умер, – еврей? – предположил Эйхман.

– Тоже христианин, сын парикмахера, и журналист, как и его жена. Умер летом тысяча девятьсот тридцать четвертого года.

– В Вене?

– Нет, в то время он находился в Берлине.

– Понятно, – произнес Эйхман; еще один назойливый журналистшка, не переживший «ночь длинных ножей». – Самоубийство, значит. – (Адъютант хихикнул.) – Туда ему и дорога. Кэте Пергер пусть занимаются другие; арестовывать матерей не наша задача. Наша ответственность – евреи.

– Каталог поедет с вами в Вену? – спросил адъютант.

– Не весь. Только список имен, составленный на его основе. И не в Вену, а в Линц, надеюсь.

Непредвиденные обстоятельства

Нежно покачивая на руках спящую Адель Вайс, Труус вела переговоры с пограничником-эсэсовцем, раздумывая, не пора ли пустить в ход заветный камешек доктора. За ее спиной Клара ван Ланге делала все возможное, чтобы удержать на месте тридцать детишек, ожидавших посадки на поезд из Германии в Нидерланды.

– Но послушайте, фрау Висмюллер, – стоял на своем пограничник, – в вашем паспорте не значится ни одного ребенка. Голландские дети могут путешествовать с матерью, не имея отдельных бумаг, но для этого их надо вписать в ее паспорт.

– Говорю же вам, офицер, я просто не успела его поменять. – Ах, если бы нашелся хоть один благожелательно настроенный путешественник с детьми в паспорте, который был бы не прочь стать приемным родителем на момент пересечения границы! А тут еще разговор с пограничником затянулся – маленькая Адель вот-вот проснется и станет звать маму. Разве вы не видите, у нее мои... – «Глаза», чуть не сорвалось с языка у Труус, но девочка спала, а ее смуглое маленькое личико ничем не напоминало лицо Труус.

– О, а вот и матушка с красавицей-дочкой! – раздался совсем рядом чей-то голос, так что пограничник и Труус оглянулись.

Перед ними стоял эсэсовец из гостиницы – Курд Йиргенс. Он еще просил разрешения потанцевать с Кларой. Пограничник вскинул руку в приветствии, а Труус крепче прижала к себе малышку. Сейчас этот Йиргенс сообразит, что в гостинице у нее никаких детей не было. Господи, ну почему она не разрешила ему потанцевать с Кларой?! Какой вред мог причинить один танец?

– Я был уверен, что не обознался. И точно, это вы! – с гордостью заявил Йиргенс и тут же с надменностью, свойственной всем офицерам, обращающимся к младшим по званию, добавил: – В чем дело, рядовой? Эта очаровательная дама и ее красавица-дочь хотя и не танцуют, но и не жалуются, даже когда имеют на это полное право.

И он улыбнулся Труус, пока солдат, изумленно переводя глаза с Труус на малышку у нее на руках, повторил:

– Ее дочь.

Труус молчала; ей казалось, скажи она хоть слово, и пограничник тут же догадается о своей ошибке.

Йиргенс тем временем рассыпался в извинениях перед Кларой ван Ланге.

– Ах, не стоит извиняться, вашей ночной серенады было вполне достаточно! – кокетливо произнесла Клара и улыбнулась так, что мужчины тут же забыли обо всем на свете.

Пока они вместе с женщинами усаживали детей в вагон, Труус старалась не задаваться вопросом: почему Курд Йиргенс и его люди не едут сейчас в Австрию, как многие немецкие солдаты, а сидят здесь, на границе с Нидерландами?

Едва отойдя от станции в Германии, поезд через несколько минут уже тормозил у перрона другой станции по ту сторону нидерландской границы. В вагон вошел голландский пограничник и, с брезгливой миной поглядывая на детей, начал просматривать бумаги, протянутые ему Труус, – тридцать настоящих виз, подписанные господином Тенкинком в Гааге. Часы на перроне показывали 9:45.

– Эти дети – грязные евреи, – процедил он.

Труус дала бы ему пощечину, не будь у нее задачи провезти через границу маленькую девочку без документов. Она сдержалась и голосом мягким, словно бархат, сказала, что если у господина пограничника есть хотя бы малейшие сомнения по поводу виз, то она будет счастлива адресовать его к господину Тенкинку в Гааге, который собственноручно подписал каж-

дую из них. Так ей удалось сосредоточить внимание служащего на существующих документах, не давая времени подумать о том, которого нет.

Поезд отправлялся всего через несколько минут, но пограничник велел им выйти. Делать было нечего. Труус поцеловала в лобик малышку, которую держала на руках, а пограничник, взяв протянутые ему бумаги, исчез. Ах, какая же она милая, эта малютка Адель Вайс! Эдельвейс. Скромный цветок, похожий на колючую белую звезду, он растет на самых крутых склонах Альп. В Первую мировую его избрал своим символом австро-венгерский альпийский корпус императора Франца Иосифа Первого. Девушкой Труус встречала парней с изображением эдельвейса на форменных воротничках. Теперь, говорят, его особо полюбил Гитлер.

Девочка, сося пальчик, молча подняла глазки на Труус, хотя наверняка была голодной. Труус тоже, ведь они покинули гостиницу ранним утром, еще до того, как подали завтрак.

Поезд ушел, а они остались на платформе, где еще целый час всеми силами старались занять чем-нибудь усталых и оттого капризных детей. Когда пограничник снова появился на перроне, Труус передала малышку Кларе, чтобы в случае чего выдать ее за мать. Из них двоих Кларе по возрасту куда больше подходила такая роль. Надо было сделать так же и на германской стороне границы. И почему она не догадалась?

Тем временем пограничник стал задавать новые вопросы, на которые у нее готов был ответ:

– Дети проследуют прямо в карантинные бараки в Зеебурге, откуда их разберут по домам. И вновь повторяю, господин Тенкинк в Гааге будет счастлив объяснить вам, почему он счел возможным разрешить этим детям въезд в Нидерланды.

Всем, кроме Адель. Адель Висмюллер, произнесла она про себя, взволнованно вспоминая, не сказала ли уже пограничнику, что имя девочки – Адель Вайс.

И снова этот тип ушел со всеми бумагами, а Труус повторила про себя новое имя: «Адель Висмюллер», однако вслух сказала:

– Как трудно иногда держать при себе свои мысли.

Клара положила ладони на головы двоих мальчиков; те, как по волшебству, прекратили потасовку, подняли головы, улыбнулись, после чего затеяли друг с другом тихую и мирную игру.

– Например, о том, что, в сравнении с пограничником, эти дети – сама чистота? – спросила она Труус.

– Клара, – улыбнулась Труус, – я всегда знала, что сделала правильный выбор, когда попросила тебя помочь мне с этой задачей. Остается только надеяться, что пограничник примет за дело раньше, чем пройдет последний поезд. Найти здесь ночлег для тридцати детей сразу – задача невыполнимая, даже будь они все тридцать христианами.

– Кто бы мог подумать, что выехать из Германии окажется проще, чем въехать в Нидерланды? – подхватила Клара.

– Именно непредвиденные обстоятельства обычно становятся самой большой проблемой, – ответила Труус.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.